

**ВАЛЕРИЙ
ЛЕБЕДИНСКИЙ**

**ПОВЕСТИ
И
РАССКАЗЫ**

**МОСКВА
РОО «Литературное сообщество
«Новые витражи»
2019**

УДК 821.161 1-3 Лебединский
ББК 84 (2=411.2) 6-44
Л 33

**Валерий Лебединский. Повести и рассказы.
— М.: РОО «Литературное сообщество
«Новые витражи», 2019, 256 с.**

В книгу прозаика, драматурга, поэта Валерия Ефимовича Лебединского вошли повести и рассказы последних лет. Тематика их многогранна, герои из разных эпох. От сцен с Зинаидой Гippiус до Солженицына и сталинских репрессий.

Книга обращена к широкому кругу читателей.

*Павлу Григорьевичу Кренёву
с глубоким уважением*

ПОВЕСТИ

БУНТ НА УЛИЦЕ СОЛЖЕНИЦЫНА

Глава первая

... С утра в одном из дворов вблизи Таганской площади был поднят страшный шум.

— Вы – сталинист! – кричала на молодого парня женщина пожилая, степенная, с редко сейчас встречаемым интеллигентным лицом. Парень, родившийся в новейшее время, где-то в начале ельцинских лет, как многие вокруг, не читающий, слышавший о Сталине, что он – «сильная рука», но более ничего о нём не знавший, опешил от такого прозвания и озадаченно глядел. Он хорошо знал мат – двух-, трёх-, четырёхэтажный, мог объясняться на его языке с большой скоростью, но... как там она сказала: «сталинист»?! Склизкое лепит, дешёвка! Он посмотрел с омерзением:

— Ну, ты чего?

— Ничего, – отвечала она. – Прежде всего – не «ты». Имел бы уважение.

— Чего-чего? – лицо стало жёстче. Он придвинулся к ней на полшага.

— Ну, скажите, пожалуйста, мне: зачем это вы вчера вечером, в темноте, топором посбивали таблички, что повесили на домах? Я видела.

— А, ты об этом... – слегка дёрнул плечом. Он и вправду не знал, зачем это делал. – Ну, сказали... А мне чего? Надо, так посбивал.

— Кто сказал?

— А тебе чего? — он даже чуть осклабился. — Зачем они тебе?

Она смотрела спокойно, с интересом. Вроде изучала его.

— Молокосос, — процедила сквозь зубы. И, повернувшись, ушла.

Он глянул ей вслед, но гнев уже остыл. Лишь усмехнулся, сплюнул сквозь зубы:

— Ну, падла...

* * *

От площади Таганской, в развилку, отходит множество улиц. Старых, хранящих историю, и, будь они живыми, мы бы сказали: вдумчивых. Центр, конечно. Шумно, а чуть не так, как везде. Возраст почтенный улиц как бы вбирает шум.

Эта, идущая, как все, от Таганской и упирающаяся в площадь Андроньевскую, кажется самой тихой даже среди таких. Самой, позвольте сравнение... интеллигентной в Москве. Вся — как сплошной музейный экспонат: что ни дом, то история. Если б дали задание выделить улицу Москвы, пусть небольшую, негромкую, но чтобы в ней одной был отражён дух последних веков, это могла быть она.

И вдруг здесь — скандалы! Шум, ей не свойственный: улице дают имя Солженицына! Как же не быть шуму и скандалам — люди-то разные жили на ней. Были тут, на Большой Коммунистической, те, кто жертвами пали в годы Сталина, и те, кто их жертвами делал. Были, и таких большинство, люди следующих поколений. Да и юные, кто бед не познал и даже о них не слышал. Им просто хотелось покричать.

Многие и несхожие жили тут люди.

А власть рухнула. Вот уж семнадцать лет — новый, для многих негожий, а для немногих пригодный, вычурный, что ли, какой-то, всем ли понятный строй. С площади Главного Зла снесли памятник Сокрушителю. За ноги

волокли, на канатах! Бросили в грузовик, как поганку. Поплевали и площадь назвали по-иному. Старые возвращали названия. Многим, а только не всем.

Вот ведь и их... Коммунистическая! Это сегодня – что? А не спешат, не чешутся, много других забот. И ни протестов не было, ни даже скрытого «нет». Жили себе, как и жили, жители этой улицы. Ну, уж видать, попривыкли: там, наверху, решат.

А пока жили, скончался писатель. Трудной, героической, трагической – ну не от Бога судьбы. Повоевавший и битый, брошенный в ГУЛАГ. Вышедший, всё переживший, выдюживший назло! Ставший всемирно известным. Изгнанным из страны. Принятым снова с почётом.

Сколько всего – одному!

Но – через все потрясения – он оставался собой.

Ну, и чего это вдруг «заворушилась пустыня»? Мирно сжились с главным символом старого в слове «Коммунистическая», а вот, когда улицу хотят переименовать в улицу Александра Солженицына...

Да, необычное новое. Улица Солженицына!

Кто-то был рад. Молча, искренне. Кто-то срывал таблички. Кто-то людей направлял.

Но и при шуме, скандалах, что возникали порой, бунт был какой-то внутренний. Ну, полугласный, что ли...

Глава вторая

Так никто и не знал, что за всей суетой, у истоков разросшихся слухов и неясной природы скандалов стоит замкнутый пожилой человек. Тихий, стройный, высокий. Глядящий моложе своих уважаемых лет. Взгляд его серых глаз затаён: исподлобья и как бы с прищуром. Губы тонкие, рот суховат.

Это – Знаменцев Сидор Прокопьевич. Кто он, где когда-либо трудился, то не ведомо даже соседям. Он один, а вокруг... никого.

А когда-то вращался Знаменцев среди громких имён и значимых. Правда, должность у него была неясная. Или толком её не называли?

Кто сейчас это помнит? Никто. Всех давно не осталось на свете.

Скромно вёл себя Знаменцев, незаметно.

Когда же был поднят вопрос о правомерности переименования улицы Большой Коммунистической в улицу Солженицына, стал он ходить по домам, близлежащим, нешумным, с просьбой к жильцам ставить подписи против такого переименования.

— Я к вам, — говорил он учтиво тому, кто открывал дверь. Почтенный вид пожилого человека внушал доверие.

— Войдите, — отвечали ему.

— Здесь — подписи против переименования улицы, — показывал он большой список. — Уж тысяча будет...

— Да, мы привыкли, — улыбался хозяин. — Столько лет была Коммунистической.

— Дело не в этом, — вздыхал Сидор Прокопьевич. — Есть положение, по которому можно назвать чьим-то именем улицу, фабрику, город спустя десять лет после смерти. А тут... что за спешка! Похоронить не успели.

— Вы правы, — задумывался хозяин. — Но Солженицын...

— Кто бы ни был! — реагировал Знаменцев. — Закон есть закон.

— Дайте список.

Обилие подписавших влияло. Да и вошедший прав: разве теперь так можно — сразу же после смерти? К тысяче подписей добавлялась одна...

Но к вечеру, когда он оставался один на один с внезапно ожившим, страшным, войдя лишь к себе, застывал. Стоя у прикрытой и незапертой двери, облокотившись на неё, чуть водил головой влево-вправо, и не было даже сил сказать себе: «Ну и ну...»

Так действовал он подсознательно, чувствуя глубоко внутри, что если не действовать, не добиваться, улица станет Солженицына. Вдоль её всей и на каждом доме висеть будут эти таблички. И в паспорте, в документах с адресом значиться станет она.

И будет тогда стабильная, щемящая душу боль...

Глава третья

Господи, как давно это было... Сколько лет прошло? Сорок? А ведь кажется, больше.

Он там был. Заседал тогда с ними. Зал Союза писателей помнит. Да, конечно, то был не раздробленный, как сейчас, на несколько Союзов, а Союз монолитный, единый. И давал он отпор отщепенцам, как этот Исаич (так он звал про себя Солженицына), кто неожиданно взлетел, а потом так же скоро стал падать. Нет, не мог он понять, Сидор Знаменцев, как так можно упрямо быть против властей и чего этим можно добиться.

Да, он был среди них. Думали, что и сам он пишет. Правда, что он писал, не знали. Ни один не читал его книг. Раз включён как участник собрания – значит, свой. А расспрашивать было не принято.

Можно сказать, Солженицын, кто встречал его в разных инстанциях, обходя, не стремясь с ним знакомиться, знал его даже лучше других, в небольшом этом зале сидящих, так как нюх на таких имел давний. Безошибочный, надо сказать. И смотрел он сейчас с удивлением, что и этот зачем-то среди них. А чего удивляться: обязанность. Ну, не сам по себе же он здесь.

Боль и жалость во взгляде Исаича. В вечность канул тот год, в пропасть хлынула слава, отшумел тот период, когда каждый из них говорил с ним не так, как сегодня.

...Вспышкой на общем фоне публикаций помнился каждому из них Иван Денисович. Тот один его день, что всегда был сокрыт, и открылся неожиданно и смело.

Ах, как хлынул восторг, и какой была радость! Сколько слов было дружеских и – ни слова худого. Солженицын был принят в Союз.

И прошло-то лет пять, только сколько его уже били! Уцелевшего в годы войны в пекле гиблых баталий. Только-только прошедшего ад лет гулаговских, ссылки навечно...

Господи, это были они? Те же самые – тогда и сегодня?

...Так сидели они – больше молча, сурово, пока Федин не нарушил молчание. Встал, откашлялся, положил на стол трубку.

– Уважаемые коллеги! – обратился к собравшимся Первый секретарь Союза. – Кворум есть (он назвал число). Было около тридцати секретарей правления и товарищ Мелентьев из отдела культуры ЦК. Правда... был ещё он, Сидор Знаменцев, из-за занятости или случайно опоздавший и вошедший в их зал аккурат перед первым выступлением. Секретарь вписал в протокол, а то как же: присутствует.

– Будем начинать? Какие есть мнения?

Стояла строгая тишь.

– Разрешите считать ваше молчание согласием. – Он стал говорить по существу двух писем Солженицына в Союз, где тот ставил вопрос, почему его не печатают. Смутил Федина тон его писем. Какой-то он нездоровый. Набрасывающийся. «Оголтелый, скажу я вам, тон».

«А что же наш тон, заседателей, – подумал тогда Корнейчук, драматург, секретарь из Киева. – Он ведь – жертва, которую бьют». Но вслух сказал:

– У меня вопрос к Солженицыну. Как он относится к той разнузданной буржуазной пропаганде, которая была поднята вокруг его письма? Почему он от неё не отмежуеться? Почему спокойно терпит?¹

¹ Здесь и дальше: подлинный текст протокола. См. «Дело Солженицына», Лондон, Онтарио, Канада, без изд., 1970.

— У меня будет выступление, как и у других, — отклоняет ответ Солженицын. — Я не школьник, чтоб вскакивать на каждый вопрос.

Зал накаляется больше. Лидер советской литературы и глава их Союза, Константин Александрович Федин, автор давних нашумевших романов «Первые радости» и «Последнее лето», с недовольством на строгом, в морщинах, лице, с неприятием в каждом жесте как отпором словам, что ещё не сказал Солженицын, сидит, густо пыхтя табаком, самым видом своим направляя каждый взмах дирижёрской палочки.

«Не трепещет в нём голос совести...» — поразмыслил Салынский, кто сидел рядом с Фединым, справа. Но глянул вокруг: лица были суровы. Поднимался ропот голосов: «Солженицын может вообще отказаться разговаривать с секретариатом, пусть об этом заявит». И Салынский задумался: «Нет, нельзя никого осуждать... Федин прав и все правы».

Тут надо сказать, что, записывая обычно все реплики на заседаниях, связанных с ним, фиксируя каждую деталь по разбору его произведений, да и сегодня — на трагическом для себя заседании, вводя и развивая потом эти записи в мемуарах, Солженицын практически не писал о переживаемых им состояниях. Конспект говорил за себя.

— Хотим мы или не хотим, — густым басовым голосом продолжал свою речь Федин, — мы должны будем сегодня говорить и о произведениях Солженицына, но мне кажется, что надо говорить в общем по письмам.

Никто не отрицал его таланта. Но Федин за час до этого вернулся из Большого дома. Там дали понять, кто враг, кто не согласен. И вот сидят они, тридцать человек и товарищ Мелентьев из отдела культуры. Ждут, на него надеются... Что говорить, состав не рядовой, а — Федин и Корнейчук, Баруздин и Салынский... Ряд, известный в стране, почитаемый. И ведь знают в душе, в тайне ведают, что неправый затеяли суд.

...Тогда, в шестьдесят седьмом, после изнузивших пяти часов заседания, разъезжались они по домам. Знаменцев шёл к мостовой рядом с Фединым, каждый – к своей машине. Константин Александрович, что было ему несвойственно, поравнявшись, обнял его за плечи. Поставили секунд двадцать, не двигаясь, не издав ни звука. Федин достал свою неизменную трубку, раскурил... Было видно, как у него дрожат руки.

— Пошли! – произнёс Константин Александрович.

Тронулись. Молча сделали шаги. Каждый сел – руки на руле, и... так и сидел пару-тройку минут, пригвождённый к суду тяжких дум...

К суду ли?

...Словно вкрадчиво, тихо тронулась «Волга» Федина. Зигзагами пропетляла и юркнула в дальний лабиринт переулков. Казалось, что даже машина главы советских писателей ощущала под слоем металла гнетущую, давящую боль...

Глава четвёртая

Он видел, как вышел из зала Солженицын. Тот медленно шёл, отрешённо, стараясь не поднимать головы. За всю свою жизнь, даже в лагерях, не ощущал он себя таким безумно одиноким. Ну, хоть бы кто-нибудь, из чувства товарищества, из мужества подошёл к нему, сказал бы хоть постороннее, спросил бы о чём-нибудь, чтоб облегчить, хоть как-то поддержать. Просто проявить человечность. Но всё было сказано, его осудили, старались на него не смотреть. Его обгоняли на лестнице, а те, кто постарше, шли мимо...

Он вышел на улицу. Стояла ранняя осень и было тепло, но он чувствовал скованность, его знобило. И голод: позавтракав в Рязани, он целый день не ел, а шёл седьмой час вечера.

Он шёл машинально, опустошённый, потерянный... Взять бы такси... Куда ехать? Куда? Всё в нём застывало, мешалось в холодном жару в одно быющее по нему, против него, на миги лишая памяти только что совершившегося, выдавая толчками голоса – то старческий, прокуренный голос Федина, заведомо жёсткий, недружелюбный, то вроде как даже сочувствующий, вдумчивый, словно желающий что-то понять для себя, голос с мягким украинским акцентом Александра Корнейчука...

Как перед смертью, пред ним проносился жизненный путь – и «шарашка», и лагерь, и мимолётные сцены Кок-Терека, где он, молодой, умирал в вечной ссылке, в чужом азиатском селе, и страшный диагноз – рак – оставлял ему дни...

Но больше и резче вставали пред ним сцены последних лет. От мощного резонанса от первых публикаций, где те, кто сегодня выискивал плохое, так же бурно хвалили, до крутой, обрубившей черты, до последнего краха.

Короткое, пылкое время! Он слушал, читал о себе, фиксируя своё положение в иной жизни – не только свободной, чем он жил уже несколько лет, но... неожиданно счастливой, раскрывшей навстречу объятия.

Как мало было той жизни – от «Денисовича» до нынешней, нивелировавшей, покрывшей чёрным всё, что было им в эти годы достигнуто.

...Он не помнил, как добрался до площади трёх вокзалов, обнаружив себя в электричке, едущей в Рязань. Он ещё вспоминал заседание. А точнее – отдельные фразы как-то сами врывались и давили на мозг... Он забылся тяжёлым сном, и спасло его то, что Рязань – остановка конечная.

Кто-то тряс его, думая, что он пьян:

— Гражданин! Выходите, приехали!

Он не сразу определил, где находится. Как доехал, дошёл – не помнил. Пред квартирой своей он застыл.

Кто-то выглянул из соседей, но, увидев его, прикрыл дверь. С ним уже боялись общаться, было лучше его не замечать.

А на лестничную площадку квартиры прорывался вдохновенный рояль. Это Ната, жена, бурной, страстной игрой гнала страх, звала жалость... До боли, тяжёлой и искренней, переживая сейчас за него.

Глава пятая

...Уже больше часа, как Федин в машине скрылся за ближним углом. Шли от входа, один за другим, заседавшие, страшно уставшие... Двадцать семь... двадцать восемь...

Знаменцев не спешил заводить мотор. Когда последний участник собрания, кто вёл час назад протокол, сел в машину, и она растворилась вдали, он вышел. Бесшумно закрыв кабину, прошёл к опустевшему входу и через минуту скрылся в здании.

Утром ему позвонил Всеволод Кочетов. Голос вкрадчивый, тихий:

— Что скажете?

— Прошло... — раздумчиво сказал Знаменцев.

— Знаю, что прошло. Что дальше?

Знаменцев понимал, о чём речь: ищет ход для дальнейших действий, позицию. Знает, для чего он им нужен... Пусть как раб ощутит: своевольничал! Допустил в своём новом романе ругань всех: и врагов, и друзей. Даже власти, которую любит.

Он знал, что ответить, но медлил...

— А что Сам? — спросил снова Кочетов.

— Если бы я знал... — вздохнул Знаменцев. И повесил трубку.

— Ишь, «что Сам?» — проворчал он вслух. Сам теперь не Хрущёв. Тот бы растрещался...

А Кочетов, услышав гудки, ощутил, может, в тысячный раз, покорное чувство зависимости от этих неброских людей, хотя его статус в обществе никак о таком не говорил. И он, как бывало, задумался.

Он никогда не общался с Исаичем, тот избегал его даже в ЦДЛ. Даже в Союзе при уплате взносов, если сталкивались случайно, старался его не замечать, и Кочетов это видел. Понятно: враги... «Подонок! – сказал он мысленно, хотя никогда не писал так в статьях, и с полминуты не думал. – Не удивительно: человек Твардовского». – Он искренне не понимал таких людей. Право, над всеми советская власть. Есть недостатки, и как им не быть, он ведь бичует их тоже. Разве в романах его и речах мало крутых обличений? Но... что за грань между ними и им, жёсткая их неприязнь?

Он не был наивным, грань была. Сталинизма, с её репрессиями, которую разоблачал и против которой выступал Твардовский, была чертой, которая разделяла оба лагеря. Но слово «сталинизма» не для него. Даже произнести его он бы не мог. Это значило бы предать свою прошлую жизнь. Убеждения, борьбу и глобальную, искреннюю любовь к вождю. Проповедь сталинизма, понимаемого им как учение, была главным, что отличало журнал.

– Да-с, Всеволод Анисимович, – назвал себя Кочетов. – Думать стоит...

Как, однако, писать о Солженицыне, втолковали ему в Большом доме. Надо было найти такую форму, чтобы не была ни памфлетом, ни обидным, прямым фельетоном. (Конечно, так прямо ему не сказали. Сказали: «Найти нестандартную форму»).

Кочетова объял холодный пот: хотят, чтоб не исходило от Кремля.

Как главный редактор он мог поручить любому сотруднику. В России любят подстраховаться в несколько этажей. Если так – пусть и подпись сотрудника! Или...

хотят, чтоб – его? О, именно это имеют в виду! Чтоб было привычно для всех: «Октябрь» в борьбе против «Нового мира»! Два главных редактора – словно стоят они друг против друга. И, как соревнуясь, дают на гора – кто чёрные угли о таких, как Исаич, а кто... Господи, ну к чему защищать явную контру, опасную?

Потоки не смешивались, доходя до читателя, каждый – в своём исконном виде. Но угли, как их ни отмывай, оставались чёрными, а надо было подать их так, чтоб читатель их видел отмытыми...

Так думал в то утро в своём кабинете, в безлюдной до полдня редакции, главный редактор журнала «Октябрь». Журнал этот, с тусклой, сероватой обложкой, менее яркий, чем «Новый мир», который уже много лет возглавлял Александр Твардовский, тем не менее, делал погоду в живущей духовным Москве...

Глава шестая

...А на Большой Коммунистической текла своя жизнь. Знаменцев обходил дома, привлекая всё новые подписи. Когда после завтрака глянул он в список, то увидел, что в нём их не так уже много. Не столько, во всяком случае, как говорил он людям, и как (право, искренне) считал. Сто, может быть, наберётся, но уж никак не тысяча.

В дверь постучали. Он прислушался: так не звонит, а интимно стучит соседка по лестничной площадке, старая Ангелина Васильевна. Ей, одинокой, как и ему, было сподручно их общение. Так и зайдёт, бывало, на часок – ну, посидят, покалякают. Чай попьют с сухими пирожными. О диете поговорят. Об их быте. Их старости... Правда, о себе она старалась умалчивать. Что вспоминать – тяжело было. Он о былом – тем паче. Так и не знали ничего друг о друге два старых соседа с Большой Коммунистической. Он и она.

Вчера тоже она заходила, он ей список показывал.

В руки она его брала, задумывалась. А он говорил... нудно, как ей казалось, но быстро, что есть закон; что надо соблюдать. Она поняла, глядя в список. Смотрела ему в глаза, как будто бы что-то пытаюсь понять в почти не знакомом соседе... Потом отдала, чуть качнув головой. Встала, к двери пошла, тихо вышла.

Он не обиделся: мало ли что на уме у женщины старой, повидавшей...

— Что ж, заходите, — он даже обрадовался и улыбнулся слегка. — Я тут обходил с этим списком...

— И как?

— Да заходите, чего же.

Она прошла, села. Он бросил список на стол:

— Устаю. В двух соседних домах, до угла... Улица наша интересная. Взять хотя бы тот дом, в глубине. Знаете, что в нём было?

Она слушала с интересом, пока он говорил интересное. Покосилась на список, взяла его. Снова взглянула, отбросила. Он уловил её жест, замолчал, так и не сев за стол.

— Зачем он вам, Сидор Прокопьевич? — она не смотрела на него, голос был отчуждённым.

— Как... что? — не понял он.

— Сидор, голубчик, — обратилась она к нему по имени. — А в вашей семье никто не пострадал?

— Это когда?

— При Сталине.

Он даже запнулся:

— А... у вас?

Она молча его разглядывала.

— Можно, я у вас закурю?

— Да... конечно. — Он вынул «Беломор», предложил.

— У меня свои.

Он сел, наконец, за стол. Закурил. Молча дымили с минуту...

— А... у вас? — он натужно улыбнулся, не зная, как начать или кончить странный разговор.

— А у нас... — она придвинула к себе пепельницу и притушила папиросу. — А у нас пострадала женщина, которая... сидит перед вами.

— Тык... — растерялся он.

Она коснулась рукой края списка и неосторожно сбросила на пол.

— Зачем это вам, Сидор Прокопьевич? — задумчиво повторила она.

И ушла, как вчера.

Глава седьмая

...Память то и дело его опрокидывала в год шестьдесят седьмой и раньше. Как безукоризнен он был, как виртуозен в действиях... Он и сейчас не испытывал сомнений в правильности того, что делал, и безукоризненность вспоминал с чувством гордости. Но удары разоблачений, ликвидация самой той системы, хоть и лично его не задевали, били по нему все сорок лет, рождая страх и гнетущую душу тревогу... Так и жили в нём до сих пор страх и гордость за дело. За скрытый, хоть видный, как если бы открыт был для всех, дом на яркой, торжественной площади...

...Утром после секретариата, когда заседавшие вчера ещё спали, в «Дом Ростовых» пришёл секретарь собрания, чтобы выверить записи и послать по инстанциям. Брать домой, выносить их из здания было строго запрещено. Он включил диктофон, прослушивал и вносил коррективы в места, где при скорости речи говорившего или репликах с мест ставил точки, чтоб после дополнить, уточняя особенно тщательно реплики и ответы Солженицына и ища в них крамолу, которой не могло не быть. Это была волнующая и скрупулёзная работа, и на секретаря накладывалась особая ответственность.

В нескольких местах, как раз там, где ему было нужно, голоса забивал шум коллег, возмущённых словами Солженицына и порой по их ходу кричащих. А порой его голос, глухой от волнений, и грубоватый бас Федина смешивались, наслаиваясь друг на друга там, где вклинивались крики с мест... Теперь лучше было понятно, чем вчера, когда вёлся «прямой репортаж» и особенно размышлять не приходилось, что именно так возмущало коллег, а где они замолкали...

Вот Солженицын отвечает на вопрос, почему он привержен западным веяниям; почему не отрешивается от слов западных радиостанций. Секретарь припал ближе, наклонился. Звучал голос глухой, но не сломленный:

Здесь употребляют слово «заграница» и с большим значением, с большой выразительностью, как какую-то важную инстанцию, чьим мнением очень дорожат. Может быть, это и понятно тем, кто много творческого времени проводит в заграничных поездках и наводняет нашу литературу летучими заметками о загранице. Но мне это странно.

Я никакой заграницы не видел, не знаю, и жизненного времени у меня нет узнавать её. Я не понимаю, как можно так чувствительно считаться с заграницей, а не со своей страной, с её общественным мнением...¹

Секретарь даже вздрогнул при последних словах: а понравятся ли они в Большом доме? Может... просто опустить это место, кто б ему подсказал? Он взглянул на часы: было восемь утра, во всём «Доме Ростовых» пустынно... Даже сторож, мимо которого он прошёл, открыв внешнюю дверь своим ключом, мирно спал на двух стульях и одной табуретке... Нет, таких указаний не было. Да и вправе ли он даже думать? Он обязан передать так, как есть.

¹ Подлинный протокол заседания.

Он работал ещё часа два, отпечатал чистовик на машинке. И, просматривая готовое, снова вздрогнул, и пот охватил его тело: там, где текст начинался словами, кто присутствовал на заседании; там, где сам он вчера вписал Знаменцева, фамилии этой не было...

В это время внизу, на первом этаже, раздались чьи-то голоса. Он узнал голос Фебина. «Знать, и он волнуется», – подумал секретарь и обрадовался, что есть с кем посоветоваться. Тот уже поднимался по лестнице, и он вышел навстречу ему.

– Что так рано? – ухмыльнулся глава Союза.

– А вы?

Федин не ответил. Было видно: волнуется. Может быть, даже больше его.

– Я тут, Константин Александрович, – снова заговорил секретарь, – готовил...

– Покажите.

– Понимаете... – растерялся тот. – Зря работал.

Федин поднял непонимающий взгляд, строго впери в лицо собеседника.

Секретарь снял с машинки бумагу, – не ту, что готовил два часа.

– Вот, лежала...

Константин Александрович побагровел, глядя в лист в руке секретаря, но к нему не притронувшись.

– Передать! – процедил он сквозь зубы.

– Я тут было... – замялся секретарь. – Текст поправлен, а тут... – зубы стучали от волнения. – И потом... нет фамилии Знаменцева... – он осёкся, глядя на Фебина, взгляд которого выражал страх и ужас. Он никогда его таким не видел... – Я же точно вписал... я помню.

«Дурак, что ли?» – подумал Федин, удивляясь его наивности. Молча, строго смотрел с полминуты... Наконец, произнёс три слова, которые секретарь запомнил на всю жизнь:

– Ты хочешь жить?

И застыли они вдвоём, как у Гоголя в немой сцене. Первым Федин очнулся:

— Где бумага? Та, ваша? — И когда секретарь её дал, разорвал на клочки и... в карманы свои запихал. Два кусочка упали, он нагнулся, их поднял, смял. И, в карман положив, повторил:

— Передать!

Постоял ещё пару секунд, быстро вышел...

Глава восьмая

Много ныне переживал Сидор Знаменцев. И чем больше был поднят вопрос о насущном названии улицы, тем больней и грознее вставало всё, что связано с этим писателем.

...На площадке его этажа встретила Ангелина Васильевна. Она не жаждала его видеть после последней встречи, но было не обойти. Она сухо улыбнулась:

— Как подписи?

— Действуем, — прищурился он.

— Ну-ну, — и хотела уйти, но... сосед, исхудавший, осунувшийся, вызвал жалость, больной интерес.

— Вид у вас... — процедила она.

Он достал ключи, руки не слушались, ключ не вставлялся.

— Дайте сюда! — она взяла ключ, открыла и распахнула дверь. Он молча, потерянно прошёл в квартиру. Она... не закрыла дверь за ним.

— Ну... дайте, я вам помогу, — вырвалось невольно, естественно. И так же естественно вошла за ним.

— Я... п-промок под дождём, когда шёл по соседям.

— Так снимите и выжмите плащ... Дайте сюда! — она прошла с плащом в ванную. А когда вышла, он так и стоял — в вымокшем сером костюме.

— Идите переодеваться! Где у вас градусник?

— На серванте, откройте.

— Всё, идите.

Она поставила на пол зонт, который держала в руках, сбросила макинтош и кинула на кресло. Ей не хотелось у него сидеть, и, глядя на снимки, развешанные вдоль стен, она сделала к ним шаги. Это были однообразные снимки незнакомых мужчин и женщин и... видимо, прежней семьи. Ей делалось скучно, и вдруг... Она стала всматриваться, не поверив глазам.

— Кого вы на нём узнаете? — Сидор Прокопьевич в скромном халате внимательно наблюдал её в спину. Она посмотрела на него и... снова на снимок. И вновь — на него и... туда.

Сомнений не было: это он — во втором ряду, где двое юных. А в первом... Она не могла ошибиться: по центру, между двумя мужчинами, сидел, поджав раздвинутые дугой ноги... Сталин!

— Я был секретарём Сокольнического райкома комсомола.

— Это... в Кремле?

— Конечно. Слева от меня — секретарь... Измайловского или Центрального... не помню.

— Когда?

— В сорок восьмом.

Взгляд её стал холодным. Она помнила этот год... на нарах, где паханша из уголовных повелевала над нею. Властные окрики пугали её и унижали при всех. Но, пугаясь, она выполняла каждый её каприз, и порой по его выполнению следовал смех других уголовных. Как выжила она, как вышла живая? Как могло это быть, что она теперь здесь? Разве там она могла надеяться?

Она подняла взгляд и смотрела на него изучающе... Были моменты — с любопытством.

Он понимал и не понимал её, видел её холодность. И сказал не спеша, раздумчиво:

— Много в каждом из нас всего, — говорил мне писатель Трифонов. — И хорошего, и плохого...

— Мы хотели мерить температуру, — сказала она после паузы.

— Не нужно. Я здоров.

— Ну, не болейте, — вздохнула она. И поднялась, пошла к выходу. Он подал макинтош, накинул:

— Не думайте плохо. Это жизнь...

Глава девятая

Кочетов не был «во всём плохим», как думал о нём Твардовский. В конце концов, оба прошли войну, были на ней военкорами. Оба по-своему отразили её. Но, преданный слепо Советам, Кочетов рьяно боролся со всем, что хоть на йоту — в тени, в стороне от генеральной линии.

В нём странно сочетались сугубо «скандальные» черты, глубинное, проникшее с молоком матери стремление выделить жертву из потока сослуживцев, знакомых, соседей, чтобы «облаять» её, даже если для этого придётся искать повод надуманный, с чертами «мягкого» демократизма, которые... можно было бы похвалить, если бы он их слишком явно не выставлял напоказ.

Взять спецпаёк. Ему он положен, и он не осуждает тех, кто заслуженно его получает, но отказывается от него! Ему хватает, — его редко улыбочливое лицо являло на миг подобие улыбки: он не досказывал. Пусть понимают: он личным примером...

Сухой (казалось, что даже в личной жизни), сдержанный, мрачный, с весьма оригинальным лицом, в котором каждая часть, будь взята отдельно, могла бы его подводить, но вместе они являли портрет своеобразной красоты, он выглядел строго на высоких постах, а были они всегда высокими. Брюнет с прилизанными, чуть влажными волосами, с залысинами по верху покатого лба, из-под которого, в глубине, глядели чёрненькие, сухие, невыразительные глаза; прямым, длинным

ртом, курносый. А если ещё добавить взгляд, в котором таилась зависть... О, вряд ли он понимал, что́ есть демократизм, и слово «демократический» с ним не вязалось. Но были же, были его проявления на ближнем и внутреннем фоне...

Параллельно, и то, и другое, в нём жило чуть не с раннего детства. Он помнил, как напал, когда было им лет по девять, на одного из ребят в их классе – мальчика хорошего, это все знали, выделяя его как плохого, прогоняя из общей компании.

Для чего? Чтобы выделить себя, предстать лучшим перед другими?

Класс не поддержал, заступился за одноклассника. С кем до этого он дружил – отвернулись, и пришлось ему уйти в другой класс, чтоб избавиться от них, их не видеть...

А спустя много лет то же самое – с Верой Пановой. Молодой, хорошо о себе заявившей, полюбившейся повестью «Серёжа». И опять – своим новым романом, приковавшим внимание страны. Сочным, красочным был роман, им зачитывались. А не нравилось это ему. Ох, не нравилось.

И опять, как тогда, с тем мальчиком, бывшим лучше его и способней. Ну, буквально один к одному! Знать, не зря говорят: все мы вышли из детства.

К тому времени он возглавлял ленинградскую писательскую организацию. Но вынашивал этот план, знал, что рано или поздно ударит, задолго до того, как нанёс его...

Трудно и в чём-то не так, как у всех, складывалась судьба у Кочетова. Он очень рано, со школьной скамьи, стал понимать свою суть, чувствовать свою серость. Он представлял весьма средний профессиональный слой писателей, с сухим, выхолощенным, вяло читаемым, мало писательским языком. Только, чем больше он это понимал, тем яростней и сильнее тянуло его к перу. Он должен был состояться и заявить о себе, – только при этой

победе сложится его жизнь. Шаг за шагом он шёл в ногу с ритмом властей, с тем, чтоб им угодить, быть с ними...

Первых двух его повестей ровным счётом никто не заметил. Но роман «Журбины» вызвал споры, дискуссии...

Каждый – Кочетов со своим романом и Панова теперь со своим – обрели имена, их читали. Вера не занимала высоких постов. Внешне неброская, с трудной судьбой, но с ярким природным даром, она почти сразу вошла как прозаик. А он долго, мучительно шёл...

Этого было достаточно. Она более, чем кто-либо, подходила ему под мишень. Выстрелить было можно. Он – начальник. А кто – она?

И он выстрелил. Да не где-нибудь – в «Правде», от которой зависела судьба. И не только её, но – его! Показать себя ярче, чем был. Лишний раз быть замеченным лидером. Обвинил её новый роман – «Времена года» звался – в неприемлемой людям советским... мелкоте. Узких взглядах. Мещанстве. Что ещё бы придумать? А хватит: власти сами добавят удар!

Но не приняли нападки коллеги. Веру любили. Его – нет. Замкнутый, нелюдимый чиновник. Взгляд недружеский и сухой. Разговор официальный, не тёплый. Книжки... такие же. Раз надо, прочтут. Но читать их не хочется.

Тонок, чуток к таким поступкам был писательский Ленинград. Раскусили его очень быстро, стали косо смотреть. Не вступали с ним в спор – прокатили на выборах. Отвернулись, почти не здоровались...

Туго стало ему. Неприветливо. Стал он думать о бегстве в Москву...

Так, в начале шестидесятых годов, появился в столице Кочетов. Выставленный из Ленинграда коллегами с репутацией недоброй, гнилой. Всё же с тайной надеждой устроиться, где не знают его, как там.

Только как это скрыть?

Москва – знала.

Глава десятая

Ох, уж эти нападки, ярлыки и погром... Что может быть лучше в борьбе с отклонениями от линии, начертанной Владимиром Ильичём.

Знаменцев обратил внимание на Кочетова задолго до появления его в Москве. Статью читал он с карандашом в руке, и пару абзацев обвёл красным. Он вычленил Кочетова из многих имён. Вычислил, как астроном вычисляет планету по отклонению соседних орбит.

В малоречивом доме на Лубянке больше думают, чем говорят, и номер «Правды» лёг на стол полковнику Главрову. Природная бдительность Кочетова заинтересовала Лубянку. Пронырливость и дотошность в нападках была им близка. В их поле зрения попал кадр не рядовой, нужный в глобальном плане... И когда тот, удрав из Питера, прощупывал связи в Москве, раздался неожиданный звонок. Он испугался, ибо кто не пугался, когда звонили **оттуда**. Звонивший представился: Знаменцев. Повестку они послали. Чтоб в час, в ней указанный, был на Лубянке.

Но встреча случилась иной. Не той, что его волновала. Сам тон её был необычен и в здании этом не част. Его расспросили о трудностях, ему предложили помочь. И он им откликнулся сразу, как если б был поиск друг друга. Да он был рождён для Лубянки, искатель врагов по призыванию! Он так же был нужен Лубянке, как и она – ему. Они это чувствовали, и чувствовал он, взаимность была полнокровная. Сам бог их создал друг для друга.

Что за строй такой, что за система? Что творится внутри её?

Вот явился из Ленинграда писатель, выставленный, по существу, коллегами, не могущий среди них оставаться. А Москва его тайно высматривает и за руку берёт и ведёт, дабы вышел опять в руководство, да на

пост ещё выше, чем там. Ибо здесь не тот случай, когда нужен агент для фиксации откровений в застольях. О, для этого есть другие. Те, что мельче, из рядовых...

Пост ему был предложен поначалу в «Литературной газете». Так, растерянный, ошарашенный неожиданной утратой поста главы ленинградских коллег, сменив Ленинград на Москву, стал он главным редактором главной газеты Союза писателей СССР. Со всеми достойными благами, что причитались при этом.

И тут же взыграла в полную его наблюдательность в стане коллег. Сколько сотрудников пострадало при этом, история ещё скажет. Только не думайте, он не доносчик: ни на кого не донёс в КГБ. Он понимал, для чего был им нужен, и материалы его «Литгазеты» были развёрнуты в сторону власти, разоблачая врагов. Туго и тошно пришлось ленинградцам, кто на него нападал. Шёл скрупулёзный отбор материалов, кто-то из авторов не проходил...

А через несколько лет, в том же здании с видом на площадь, предложили возглавить «толстый» «Октябрь» – тот, который и до него напрягал либерально мыслящих. Чем уже тридцать лет, от начала тридцатых, ведал Фёдор Панфёров, романист.

Намечалась единая линия с эстафетой Панфёров-Кочетов, где не то чтоб свободы слова, а и мысли не будет такой! Вот на Севере, где-то на Лене, есть газета «Советская мысль».

Даже мысли должны быть советскими, чтобы вам доверяли в стране.

Глава одиннадцатая

В единственной комнате Ангелины Васильевны сегодня собралась компания. То были такие же, как она, а то и намного старше люди, прошедшие через все рубежи, все буреломы их лет. Главным, проводшим черту

в жизни каждого меж символичными «до» и «после», был их арест (у кого-то из них было два или три). И отобравший часть жизни ГУЛАГ, воспринимаемый видами вышек, лаем овчарок, лязгом и звоном ключей... Весь – сочетание памятных слов, что уловил Солженицын: лагерь, сковавший цепями страну – архипелаг ГУЛАГ. О, это слово, проклятие, ад, словно портрет эпохи! Архипелаг на народной крови имени гения Сталина!

Их, остававшихся, выживших жертв было уже очень мало. Общее прошлое, словно магнит, их притягивало друг к другу. Память, острая и больная, была их ведущим.

Впрочем, компания была специфична, никто в ней не выглядел главным.

Разве что скромно сидящий старик, живой, деятельный, подвижный, Антон Владимирович Антонов-Овсеенко был широко известен. Сын видного революционера, директор единственного в ту пору в стране Музея истории ГУЛАГа, он был почти слеп, и зрение его падало.

А рядом – прошедший шесть лет Колымы, высокий, азартной натуры, но явно и тяжело больной, натужно хватающий воздух, которого ему не хватает, Кирилл Кимович Губин, русский по матери, еврей по отцу. Ему было хуже, чем всем. Он попал на рудник Аляскитовый в тупиковом сведении гор. А рудник – это смерть. Каждый день, каждый час – без надежды.

И... странная пара для тех, кто их знал, а здесь-то их знали все – Павел Тершавин и Вера Смаева. Он – поэт и прозаик. О ней мало знали. Странность и необычность этой пары – старых Ромео и Джульетты – была в том, что Тершавин прошёл лагеря, где уголовники его били ремнями. Выслан был в Салехард, где жил девять лет. А рослая, плотнее и выше его, с крупными, грубыми чертами жена была дочерью то ли племянницей (это путали даже здесь) одного из самых страшных казните-лей, палача с канала Москва-Волга Смаева. Как они встретились, как могли пожениться – надо думать, что

по большой любви. Но не было у Веры любви к мужу, а может быть, зная их, неверно о них думали. Они расходились, сходились, у них было двое детей.

При схожести судеб всех, кроме Смаевой, это была разношёрстная компания. Но жили одним – делами, которые каждый свершал.

Вот и сейчас собрались в доме, где жила Ангелина Васильевна, чтобы история с именованием улицы кончилась в пользу писателя. Курили, в душе волновались и были тихи, озабоченны. И лишь Кирилл Губин нарушал тишину то возгласом громким, то кашлем...

— Всё, как на сходках социал-демократов в девятисотом году, – грустно пошутил Кирилл Губин. Действительно, скромной была обстановка, куда уж не густ их стол, где не было даже кофе ввиду их возраста, а только лишь чай, суховатые бублики да блюдце таких же сухих крендельков. К тому же, обилие книг, они сами очень напоминало те сходки. С той только разницей, что они не скрывались от полицейских, жандармов, хотя и не афишировали встречу, боясь, чтоб не повредили им. Впрочем, они не столько сидели за столом, сколько вдумчиво, беспокойно вставали, и, поразмыслив, опершись на спинку стула, делали шаги, стояли, садились на кушетку. Было видно, что это – не главная часть их встречи. Ждали мэра Москвы, тот сказал, что приедет и обещал разобраться, помочь. То, что свершалось на этой улице – письма в инстанции обеих сторон, эта борьба за и против не могла их оставить в стороне.

Вот и сегодня, в Музее ГУЛАГа, где они были с утра, жуткие сцены минувших мучений встали пред каждым из них. Директор музея провёл их в подвал, где карцер по виду как подлинный. Два метра примерно на два, клетушка без света, без воздуха, где в сжатом и узком пространстве – параша и темень углов.

— Вот здесь меня бил вертухай, – сказал Кирилл

Губин, взяв указку. — Удар за ударом в лицо сапогом. Сюда я отполз, весь в крови...

И слова его действовали посильней, чем у гида.

Один к одному, как в ГУЛАГе, давил, угнетая, подвал. Казался удушливым воздух, и карцер напомнил ГУЛАГ.

— Когда я на третий день вышел, — пытался сказать Кирилл Губин, и вдруг... у больного чахоткой пошла кровавая струя. Он выронил указку, едва устояв на ногах...

Ему помогли, он не умер. Директор музея, слепой Антонов-Овсеенко как-то пытался поднять их настрой. Но все в те минуты замолкли, и каждый припомнил своё...

Прошло три часа, и казалось, что не было карцера утром, и хлынувшей крови из горла, так вид был у Губина свеж. И лишь одиночные вскрики взрезали как будто бы воздух, и, выбросив словно бы фразу, больной тяжело замолкал...

— Нам мало всего, — произнесла Ангелина Васильевна, задумчиво глядя в тишину. — С каким колоссальным усилием нам надо кому-то доказывать, что бывший в ГУЛАГе писатель достоин, что он заслужил.

Все ждали в тот полдень Лужкова, надежда была на него.

Поэт Павел Тершавин достал свою трубку, похожую на старинный чубук, раскурил. Задумался и обронил в тишину:

Прошёл целый век, и резонно
Оттаять болящей душой.
Но вновь я иду через зону,
Мой срок непомерно большой.
И вновь — тишина.

— Видать, он уже не приедет, — взглянул на часы Кирилл Губин. Но все терпеливо молчали. Никто никуда не спешил.

— Как будто, какие-то звуки, — в тиши прошептала хозяйка... Воспрянули с новой надеждой.

Раздался звонок в дверь.

Глава двенадцатая

— Я, пожалуй, пойду, — шепнула Смаева мужу. Он знал, что она недолюбливает Лужкова, но, может быть, у неё есть на то причины. Он никогда о них не спрашивал. Встал и проводил её к чёрному ходу.

Они уже давно не жили как супруги. В то, что у мужа с друзьями сложилась инициативная группа, ни он, ни другие не посвящали её. Но, так как жил он с ней в одной квартире, и были дети, давно уже взрослые, и позади — масса общих дел, он брал её часто с собой, и она была с ними. Тем паче, в их группе всё больше молчала. А что было у неё на душе, в какой степени их одобряла, думать серьёзно не хотелось.

Она спускалась по запасной, давно не мытой лестнице, и разбросанные на многих площадках, а то и на ступенях, краны, части трубы, детали и сама по себе разбросанность напомнили ей сцены детства, когда отец её брал на лето на великую стройку века — канал Москва-Волга. Стройка впрямь была грандиозна. В глубочайших котлованах шла жизнь, они обрамлялись металлом и бесконечно уходили вдаль... Как все школьники в Советском Союзе, она гордилась этим величием, ей было лестно, что она сейчас здесь, что видит и будет помнить всю жизнь...

Правда, она не понимала, что делает её папа на стройке. Кто Матвей Берман, она знала. Кто Фирин — тоже. Это были руководители стройки. Правда, Фирин был начальником лагеря, но у неё это перекликалось с лагерем, где она была прошлым летом. А глубже она не задумывалась. Но видела: трудятся тысячи людей, и труд их был зрим и понятен.

А вот... кто её папа? Она спрашивала у людей.

— Кто твой папа? — переспрашивал кто-нибудь и... молчал. Она замечала: улыбка обычно сходила с лица. А кто-то похлопывал её по плечу. — Вырастешь — узнаешь.

Потом было странное... Неясное совершенно. Как только стройка была завершена, её герои-руководители, о подвигах которых ежедневно писали газеты и чьими снимками были полны, один за другим исчезали. И в тех же газетах, на тех же местах появлялись слова: «Предатели!» «Продавшиеся враги!» «Пособники мирового империализма!»

Вдруг грозной силой стал её отец, которого она безумно любила. Имя сотрудника НКВД, разоблачавшего целые группы, может, и не было у всех на устах, однако, на стройке все знали. Он был награждён, и она им гордилась. А потом так же скоро... разоблачён и расстрелян.

Сколько было их, клятых врагов, на легендарной стройке её детства? Почему именно враги и только враги создавали советскую стройку? Всё было путано тысячу раз и непонятно, кто из них что-то делал, кто вредил, почему...

Она стала дочерью жертвы режима и в то же время его палача. Как члена семьи её не принимали ни на работу, ни в институт. И хорошо ещё — не сослали, как многих знакомых «членов семей».

Она стала замкнутой на всю жизнь и толком не знала, с кем она.

...В мыслях этих она не заметила, что давно идёт по улице. Но шла машинально правильно, куда ей и было нужно.

Глава тринадцатая

Знаменцев, как всегда, был один всё последнее время. Томило его одиночество, пугали давнишние мысли. Чем дальше шло время от пагубных его дел, тем явственней и сильнее внутри поднимался страх. Ему захотелось уйти от мучивших в эти дни картин, жутких мыслей, глубинного страха, побыть с кем-то... да хоть с Ангелиной. Да, именно с ней! С ней! С ней! При всей их дальности друг от друга его тянет к ней, к их молчаливому сидению. Речи ему сейчас не нужны.

Колеблясь, он подошёл к её двери. Внутри были люди, там шумели. «Там ей не до меня», – он усмехнулся, задумался и... всё-таки позвонил: хотя бы побыть на людях.

– У меня гости, – смутилась она, тем более, что ждали Лужкова. Думала, что открывает ему. – Не сейчас.

– Ангелина Васильевна, кто там? – спросил голос внутри. Она отвлеклась, чтоб ответить и выпроводить соседа, и... вдруг её осенило: «В открытую! Пусть послушает! Пусть знает, что есть другие люди!»

– Пройдите, – поколебавшись, сказала она. И отстранилась, открывая путь в комнату.

Но «люди» полагали иначе. Он уловил, что говорили и смолкли, как только увидели его. Один из них, слепой, древний старик, которому не успели дать знать, начал было:

– Я думаю, что...

Уже не заботясь, что вошедший увидит, Тершавин наступил на его ботинок, а стоящий возле него Кирилл Губин сдвинул его плечи руками и распевно и громко сказал, налезая на его слова:

– А у нас гость...

Слепой понял, смолк.

Знаменцев уловил, что круг тут не его... Но разве те, кого он обходит, всегда его круг? И что это они смуще-

ны, да так, что его не представили гостям? Что же, пусть слышат, их тут много, и обратился к Ангелине, как будто других тут нет:

— Я вот думаю, откуда взялись эти таблички? Кто их заведомо изготовил, кто завёз, когда решение ещё не было принято и только витали слухи?

Кто-то, глядя на него, пошутил:

— Слухи слухам рознь...

— Садитесь, — усмехнулась хозяйка.

«Они думают, я глупее их», — зло поразмыслил Знаменцев. Больше всего он не любил, чтобы держали его за дурака. И, оглядев присутствующих, добавил:

— А то, чего доброго, назовут.

Гости переглянулись, а Ангелина не выдержала:

— Нужно не только назвать его именем, а и поставить памятник в начале улицы! Величественный монумент, как в Магадане. А по бокам — как на памятнике Екатерине полководцы, чтоб — жертвы террора из «Архипелага...» И — объявить конкурс на лучший проект.

Он сдержался, но иначе нельзя было, можно выдать себя. Сел, вынул платок, вытер лоб. «Отдохнул!» — пронеслось в голове. Он зашёл, чтоб забыть, а попал в самый ад... Но рассматривали его с интересом. Кирилл Губин пошарил руками под столом. Взял сосуд (это ж надо, принёс! Но ни он, ни другие не пили), и, хотя тряслись руки и затрясся стакан, налил, протянув вошедшему:

— Вот, отведайте. Жена делала.

Сидор взял, усмехнулся. Снова всех оглядел...

— За вас!

Пригубив, призадумавшись, он поставил стакан.

Слепой Антонов-Овсёненко сказал, обращаясь к нему:

— Возможно, у вас была не самая лёгкая жизнь, я этого не знаю. Но то, что вы не попадали в ГУЛАГ, гарантирую.

Он вновь усмехнулся:

— А что, все попадали? Громадная часть жила, может, не так богато, но никто никуда не попадал.

— Кому вы это рассказываете... — вздохнул Антонов-Овсеенко.

— Здесь — все, — обвела взглядом комнату хозяйка. И заметила, что нет дочки палача, жены жертвы ГУЛАГа: «Кроме этой...»

— Есть разные мнения, — сказал сдержанно Знаменцев. Он хотел сменить тему, но Губин произнёс:

— К сожалению. Странно, сколько людей защищают вождя ещё и теперь, спустя полвека.

— Я вспомнил деталь, — произнёс поэт Тершавин. — Как это у Маяковского... собака с благодарностью лежит руку хозяину, который побил её.

— Вот-вот, — вздохнул директор музея. Блестящий когда-то полемист, автор книг о палачестве Сталина, Антон Владимирович Антонов-Овсеенко ощущал боль от их встречи. Он единственный, может быть, понял, а точнее, почувствовал... нечто большее о вошедшем, чем все. — Кто препятствовал, когда строили вход на «Курскую» кольцевую, той надписи? Сталинисты и те усмехались, как молчала Москва! А ведь видели, как по кругу возникали из камня слова: «Нас вырастил Сталин на верность народу, На труд и на подвиги нас вдохновил».

— Вас послушать — во всём он виноват, — улыбнулся натужно Знаменцев. — Победили в такой войне...

— Вопреки, а не благодаря! — воскликнул Губин. И опять стал хватать воздух.

— Что-что?! — не выдержал Знаменцев. (Тема не менялась!)

— А то, что народ победил, а не Сталин. Без него бы война не длилась столько. И вообще... войны могло не быть, будь у власти другой.

— Это как? — изумился Знаменцев.

— Не у нас ли в музее возникли слова, — вновь включился Антонов-Овсеенко. — Не будь тридцать седьмого, не было бы сорок первого.

Знаменцев молча качал головой... «А слова у них сильные...» Он рассматривал их, они – его.

Тишина.

– Ни к чему мы не придём, если так, – вымучил улыбку Знаменцев.

– Ни к чему... – подтвердил поэт Тершавин.

– Ну, спасибо... – Знаменцев не спеша встал, подошёл к окну, постоял. Глянул на Ангелину Васильевну:

– Я, пожалуй, пройдусь...

– По квартирам со списком, – пояснила она гостям. Было видно: о списке здесь знают.

Он вышел.

– Кто это? – спросил Тершавин, когда за ним затворилась дверь.

– Сосед, – вздохнула Ангелина Васильевна.

– Он... из этих? – спросил, не то утвердил Антон Владимирович Антонов-Овсеенко.

Ангелина Васильевна задумалась... Покачала головой и тихо, губами, сказала:

– Не знаю...

Глава четырнадцатая

11 июня того же 2008 года проснувшиеся жители домов 25, 27, 29 могли видеть через окна плакаты, которые красовались на подъездах. Наскоро, но аккуратно выписанные, на которых громадными буквами, чёрной краской значилось:

«Фашистам нет места в нашем обществе.

Солженицын – фашист!»

Появление их именно сейчас было не случайно. Не только на этой улице, но и по всей Москве ползли слухи, что в Думе готовится постановление о названии улицы его именем.

Смаева шла мимо этих домов, сразу не замечая плакатов. Но из любопытства подходила, прочитывала и в удивлении пожимала плечами. Глядя на её равнодушный вид и искреннее удивление, никто б не подумал, что висят они здесь не без её участия.

Правда, она была невероятно далека от политики. Это шло с детства. С тех одиннадцати лет, когда испытала предательство со стороны государства. (А иначе как это объяснить, когда вознесли, наградили и... предали анафеме!) И «всё навсегда перепуталось».

С тех пор она ненавидела политику, даже близкие к ней разговоры. Ей становилось не по себе при звучании слова «репрессии». Она не верила и не доверяла ничему, что исходило от Кремля, и вообще не могла это слышать и выключала радио, как только «об этом» говорили.

Так и познакомилась с будущим мужем, ссыльным, после тюрьмы жившим в Томске. Он её поддержал: видя, как ей это противно: сам, как только о том было радио, подходил и, глядя на неё, выключал. Встретились в красном уголке хлебозавода, где она трудилась учётчицей, а ссыльных командировали на помощь. А потом у него, в ветхом домике, сблизились, только были далеки друг от друга. Он – глубокий эрудит, очень добрый, даже лагерь его не сломал, оставался всегда жизнерадостным, а она – с детства злая на мир, в Томск сбежавшая от бесправия в центре, не вернувшаяся больше к учёбе...

Много лет уже минуло с той далёкой поры, только власть, как была ей чужой, непонятной, так чужой и осталась. И протест как глухой отголосок тех лет, делал жёстче и нрав, и поступки...

В этом смысле как раз Солженицын был близок – символический сгусток борьбы. И она, хоть и больше молчала, но была на его стороне. А читать «Один день» не могла – ни тогда, в «Новом мире», ни ныне. Лагерь

был ею понят на болезненном уровне, он был связан с отцом. А другое прочла, и ей нравились и Матрёна, и тот, с Кочетовки...

А недавно взяла его главное – так он сам о той книге писал. С символичным, красивым, им найденным: «Архипелаг ГУЛАГ». Без конца, безгранично – аресты, искалеченность судеб людей... И – всё случаи, случаи, случаи... И сама на таком она полюсе, как они и как он, автор книги. Потому от него и отталкивается, и не может такое читать. Если б душа её имела нечто овеществлённое, можно было бы сказать, что она навсегда искалечена.

И читать не могла, и закрыть, но листала, просматривала... Вдруг её напугали слова... Взор застыл, и она к ним вернулась. Тот единственный, кто был ей близок, автор книги, её Солженицын, обвинял однозначно в убийствах главарей Волго-Дона! С дрожью в теле она охватила семь строк... Были названы Берман и Фирин, и потом ещё Жук... и ещё... но фамилии папы в них не было. Она стала искать и читать, в беспорядке листая, листая и боясь, что вот-вот её встретит...

Нет, не встретила, но поняла: автор книги – его обличитель! Невзлюбила она Солженицына, опасалась, считала врагом. И тогда, когда стала бурлить, зажигаться протестами улица, поддержала почти подсознательно их спонтанно возникший протест.

...Она снова прошла мимо этих плакатов. Они были развешаны именно там, где она их велела развесить. Но... она не писала «фашист», это было чрезмерно и грубо. Она против таких резких слов из области подлой политики. А тем паче, в фашизме, а точнее, в *связи* с ним, обвиняли когда-то отца.

«Как-то всё тут порочно... В ход идут ярлыки», – и металась она, и терзалась в бесконечной своей маете... В общем, всё, что она сейчас делала, было хаосом в хаосе, сумбуром в сумбуре...

Глава пятнадцатая

Он вышел от них, не знакомых, но тех, в судьбах которых участвовал. И не имеет значения, знал ли он именно их – таких и теперь ещё тысячи. Сейчас, когда он старался выветрить из головы болезненную память, затушевать её, они всколыхнули в нём боль, бросив ему в лицо, да ещё прямым текстом – **имя**.

...Вот и тогда, в шестьдесят втором, имя, которое произнесли только что, кипело и будоражило умы. Как неожиданно, ни на что не похоже, звучало оно для них. Он никогда не встречал: Сол-же-ни-цын... Оно застревало на губах, и раненная им память походила и непроизвольно выплескивала и повторяла: Сол-же-ни-цын... Знаменцеву казалось, что тот не столько написал, сколько шума вокруг было поднято. Но герой его повести был у всех на устах. То и дело он слышал: «Вы читали?!»

Сколько связано у него с этим именем! Сколько сделано им, чтоб его замолчали, чтоб оно не вредило устам...

«И вообще, что за шум, – думал Знаменцев. – Ну, были аресты: кругом враги! Революция идёт дальше, и либеральничать не стоит. Как без арестов? Без них нельзя...» И маленький, толстый человек с короткими руками, выскочивший, ни от кого не получив согласия, на самую высшую трибуну, чтобы сказать о Сталине худые слова, представлялся ему глупцом. Тем паче и дальше, в каждой речи несло его, заносило.

Он слабым был только что, это недопустимо. Может, сказался возраст? Может, накоплен страх? Разве когда-нибудь кто-нибудь знал, кто среди них и откуда?

Он обуздал эти мысли: надо владеть собой. Встал, и как будто бы молния прошла с головы до ног. Ступор помог его мыслям, но легче ему не стало.

Сошёл по ступеням на улицу, запруженную у подъездов. Нешумную, но отвлекшую его. Картина сменилась, но имя вращалось в больной голове и вырывало

его из сегодня, над коим кружились, как если б в метель, вихри жестокой памяти...

...Контакты с Исаичем начинались давно, ещё при Никите Хрущёве, когда Сидор Знаменцев их изучал, но в мире писателей не был. Исаич о нём и не знал ничего, и видеть его не должен был.

Мысли неслись далеко-далеко, вдаль от табличек с фамилией...

...Вот он, кто был молод тогда и красив, стоял у окна и курил, а где-то внизу, глубоко под ним, кипела родимая площадь. И в доме, глядящем на площадь, бурлила их тайная жизнь...

Незримо и тихо **его человек** работал под Тарту, в лесу, куда – угадать невозможно, когда – войдёт ли ещё Неподвластный. (Кличку знали лишь двое: он и тот, кто в лесу).

Два месяца ждали, пока он вошёл. Пока смастерил из сосны себе стол, пока сколотил табуретку... С утра и до сумерек просиживал он на маленьком, низком сиденье, и много исписанных мелко страниц лежали на століке стопкой. Его не смущало, что он здесь один, вдали от жены, от Рязани. Он сам, добровольно, себя замыкал в свою тишину, в мир безлюдный... То был его лад. Образ жизни. Потребность. Они, люди с площади, знали.

Много не извлекли, но удалось заснять пару страниц с такой острой критикой власти, в сравнении с которой «Один день», с его лагерным бытом, выглядел детским лепетом. Да пару бобин со звуками, во многих местах приглушёнными, эзоповской речи Исаича в беседе с опальным генетиком. (Ну, то уже, правда, на даче, по ходу проверки генетика.) А в целом, картину дополнили, кольцо ещё более сжали.

Зря лишь думают, он и генетик, что на даче они одни. Что никто их не слышит, не видит, можно вольно вздохнуть, быть собой...

Так тонко и так терпеливо внедряла **своих** эта площадь. Торжественным и символичным смотрелся её разворот с высоким, со всех углов видным, крутым монументом Дзержинскому.

Глава шестнадцатая

Вернёмся, однако, ещё чуть назад. К истоку, началу начал. Проедем по центру вечерней Москвы в старинный и скромный проулок. Войдём в «Новый мир», этот давний журнал, припомним, как всё это было...

...Была почти полночь, а Твардовский, которому отдел прозы дал рукопись, с запоем перелистывал страницу за страницей, жадно вчитываясь в каждый абзац. Он углублялся в особый язык, в лад архаичного говора:

Напересек через ворота проволочные, и через всю строительную зону, через дальнюю проволоку, что по тот бок, – солнце встаёт большое, красное, как бы во мгле... над зоной пустой: где щиты сборных домов снегом занесены, где кладка каменная начатая да у фундамента и брошенная, там экскаватора рукоять переломленная лежит, там ковш, там хлам железный, канав понарыто, траншей, ям наворочено...

Может, за все «новомирские» годы он не встречал такой речи... Кто автор? «Крестьянин», – шепнула коллега. И посмотрела умно, со значением...

Вещь вырывалась из общего ряда лежащих в редакции рукописей. По новизне, остроте материала и... невозможности дать это в печать. Здесь было то, к чему он призывал, о чём говорил на съезде: больше – о сталинщине, о лагерях, раз светофор на «зелёном»!

Но... для открытого даже пути слишком уж страшная вещь.

Главный редактор представил поток будущих писем в редакцию. Главный представил борьбу до конца, вплоть до лишения должности.

О, эйфорический, страстный порыв, краткая, светлая оттепель...

...Ко дням выдвижения им этой повести на соискание Ленинской премии, люди Знаменцева собрали столько улик, что, переданные ими «наверх», они всполошили власти. Выводов не было (им не положено. Важно собрать материал). Факты гласили: антисоветчик! Разоблачитель. Бунтарь. Крайне опасен. Не в меру активен. Инициатор идей подрывных. Стало быть – делать всё, чтоб не дать ему премию! Ибо потом будет трудно пинать лауреата Ленинской премии.

Сотни изысков секретных работ шли из незримых глубин... Шли по инстанциям, как по конвейеру, и поступали наверх.

Глава семнадцатая

Там, на самом верху, тайно крылось сверженье. То был трудный, противоречивый процесс, как труден и противоречив был Сам. Но был он по-прежнему уверен в себе. Даже дал интервью, что вновь будет назначен. Что за пост не волнуется. Что народ за него. Любит его народ. Только стал он надолго уезжать от своего народа. В бесконечных поездках бывал дольше потребного...

Маленький, бойкий не по годам, слишком всегда активный, может быть, наконец, он почувет, что неладно вокруг? Как-то славить его стали странно. Вроде славят, ан-нет... в тексте речь о плохом, словно связаны с ним недостатки. Но в ближайшем кругу – неизменно. Все его почитают и любят.

Странно... Другой бы заметил разницу с тем, как было. Мог на этом этапе усиливать свою власть.

Ничего он не чувствовал, а расшатался трон. Был, как всегда, жизнерадостен, волен и скор в речах...

За завтраком милая Нина Петровна (так он по-старому её называл, благо жил с ней больше полувека) вдумчиво, тихо рассказывала, как генерал Погожев, смелей и прямей, чем можно, с ней говорил, чтобы явно она довела до супруга...

Нина Петровна запнулась, глядя не очень уверенно...

— Что ж он такого сказал? — выпалил быстро супруг. Может, впервые за все эти годы на самодовольном лице Самого вспыхнула искрой тревога.

Нина продлила паузу и печально сказала:

— Он говорит, и видать, не один, может, такое бытует, что непотребно было пускать в печать тот «Один день» Солженицына.

Муж прикусил губу. Глянул, как никогда, со страхом... Верно, его непродуманность и — он привык — поспешность при разрешении им напечатать повесть писателя Солженицына странно сейчас, непонятно обращивались против него.

...Нет, он слушал, когда читал ему Лебедев — этот, выбранный им в помощники, коему можно доверять. Был сентябрь, тепло, грело солнце на даче, где блаженствовал он после дел, отдыхал, сидя в кресле, глубоком и мягком. Как всегда — не читая, а слушая. А помощник, с лицом приятным, даже, право, интеллигентным (Сам таких не любил, только с этим сработался) говорил потаённо, с улыбкой:

— Вот, хотите, Никита Сергеевич, повесть новая, необычная...

— Что там в ней? — мигнул хитро, по-доброму, благо шло в этот день всё хорошее.

Уловил, седьмым чувством почувствовал Лебедев, что — момент, под который пройдёт! В апогее ударов по культу. При настрое сегодняшнем благодном.

Он весь вечер тогда его слушал. Прямотой языка, по-

крестьянски, говорил им писатель про лагерь. Быт в застенках, судьбу сокрытую, о какой и писать не принято.

— А, какой! Кто таков... Солженицын? Что-то я не слыхал...

— И никто не слыхал, Никита Сергеевич, — улыбался в ответ ему Лебедев. — Был он сам осуждён, в ссылке чуть не скончался. Только вам благодаря и вышел.

— В пятьдесят шестом, стало быть? — призадумался он, стал склоняться...

— Имя новое. Ярок, талантлив. И Твардовский просил за него. А, Никита Сергеевич?

— Ну, дак что? Повесть нравится... Пусть!

Вот и времени прошло не так много, и Твардовский его потом выдвинул аж на Ленинскую... Вроде всё хорошо, ан кусают его подопечного. Почему — когда власть в руках? Причём, после Сталина напряжение спало, а после расстрела Берии он успокоился совсем.

В давно не знакомом смятении нажал на рычаг прямой связи.

— Никита Сергеевич, слушаю! — раздался на всю гостиную испуганный голос помощника. (В ранний час явно поднял с постели).

— Что там у нас с этой премией? Ну, ты догадлив: по «Ивану».

— Ситуация пока не ясна, — грамотно, как всегда, на хорошем русском доложил преданный помощник. — Есть голоса «за» и «против».

— Кто перевешивает, я тебя спрашиваю? — резко повысил голос Сам. На другом конце... пауза. Три секунды, но всё же...

— Трудно пока гарантировать...

— А ты для чего? — грубо бросил Хрущёв. И нажал на рычаг отбоя.

Там, в комитете по присуждению премий, решался вопрос о повести. И он ничего не мог с этим поделать.

Глава восемнадцатая

Зная Знаменцева, видя Федина на секретариате, сухо, придиричиво, неумолимо гнушим «единую линию», главный редактор журнала «Новый мир» Александр Трифонович Твардовский воспринимал их с осторожностью. Каждого, разумеется, по-разному. Знаменцева как кагебиста не терпел. С Фединым как коллегой смирился. Многих воспринимал с опаской Александр Трифонович, а Кочетова с его позицией и постоянными выпадами «против» – ещё и как личного врага. Было достаточно, что он сталинист, что руководит журналом, направленным против либералов.

Бог его знает, кто из семьи был арестован у Кочетова. А у Твардовского мать и отец сосланы были в Сибирь. Он об их судьбах по сей день молчит, но на Лубянке всё знают! И его «Новый мир» под надзором, хотя Знаменцев в нём – редкий гость.

А по «Октябрю» ходит как хозяин. В нём он пуще любого сотрудника окопался с корнями до Кочетова, кто по их же подаче явился в озираемый ими журнал. Так что вилами по воде ещё писано, кто над кем...

Он – хозяин негласный, понятно. Нелюбимый и здесь (кто ж их любит!) Но журнал идёт вровень с нужным, и нужда у них есть друг в друге.

Но почему «окопался» он здесь, а не в «Новом мире» – стане вольномыслящих? Таких, как Твардовский. Бунтарей типа Солженицына, всё выискивающих, всюду лезущих. Казалось бы, было логичней ему окопаться там. Здесь – верящие и преданные. Искренне, с юных лет.

Все? Он уверен в этом? Вот потому он здесь. Под его зорким глазом – журнал и его направленность. Все и каждый его сотрудник. Главный – не исключение. Это ему кажется, что он направляет, а с Лубянки ему лишь советуют. «Наоборот, – ухмыляется Знаменцев. – Мы можем принять совет Кочетова, если в нём что-то есть, но не больше».

Знаменцеву от этих мыслей становилось тепло внутри, словно сок в него тёплый вливался. Он – из массивного здания с окнами на площадь, где монумент их опоры, их силы смотрит кругом, в разворот... Люди оттуда глядят далеко. Там безошибочно мыслят. Так что и здесь, среди преданных, могут быть чуждые веяния. Надо читать сквозь строчки, надо уметь подмечать.

Глава девятнадцатая

Обсуждали ночью, как при Сталине. Знаменцев был старшим. Не по возрасту, а потому, что лишь он захватил в КГБ то время. Трое других пришли позже, когда бить уже было нельзя. И нельзя было «Дело» сдать, если не было в нём доказательств. Настоящих, а не со следами крови на протоколах допроса. (Сидор помнил, как кровь, разливаясь, закрывала порой сами подписи, а он тратил на них столько сил, что потом отдыхать приходилось).

Все склонялись к работе с жюри Комитета по Ленинским премиям. К ювелирной методе бесед, где нельзя заподозрить давления.

Знаменцеву достался Гамзатов – популярный советский поэт. А ещё – человек с Кавказа, это надо учесть...

В ресторане «Националь», рядом с Театром Ермоловой, поутру посетителей мало. Тишина, чистота и уют, но поэт чуть заметно в волнение, закипает бунтарство в крови. Он летит за границу, он проездом в Москве. Дел и так в эти дни по горло. Когда Знаменцев позвонил с приглашением посидеть, отдохнуть, успокоиться, сразу понял Расул, для чего.

— Знаю я, о чём речь, – выдыхает поэт, когда сели они, огляделись.

— Да, вы правы, – прищурился Знаменцев, губы в тонкой улыбке. Но... однако, спросил о здоровье, попросил его что-то прочесть.

— Не пишу, — хитро молвит Гамзатов. — Всё летаю по миру, нет времени. — Он нетерпеливо повёл головой, оглядел исподлобья зал. Сидор понял: с ним так не пройдёт.

— Что вы думаете о повести Александра Исаевича? — спросил он напрямую.

«Так и есть! Как они надоели...»

— Сколько можно... — взмолился Расул.

— Меня тоже об этом спрашивают, — рассмеялся его собеседник. — Что поделывать, хорошая вещь.

Но Расул не терпел обиняков. Да и слишком уже они давят. Тот — туда, тот — сюда, всем не будешь хорош.

— Вы хотите узнать, за кого подам голос в жюри?

— Да, Расул.

— Я не знаю пока...

Знаменцев постучал в раздумье костяшками пальцев по столу, наклонился, спросил с улыбкой:

— Вы — советский человек? (Ну, точь-в-точь, как тогда, на допросах. Там рука — при любом ответе — навострялась в разворот для удара).

— А то как? — изумился Гамзатов. — Мы в горах все советские люди.

— Ну, вот видите. А он — нет.

«Этим надо, чтоб — нет, — грустно думал Расул. — Утром Фурцева тоже давила. Позвонила и шутит: «Расул, ну когда вы поймёте, что нужно?» Ох, не любит Расул, когда давят, не для этого горный Кавказ...

Уступать не хотелось. Но его знает мир. Все дороги открыты. Все редакции просят стихи...

— А он — нет... — протянул он в раздумье. То ли вы давил вслух, то ли спел. — Хорошо, будет так.

Знаменцев чуть заметно кивнул, закрепляя слова Расула.

Взял меню, распахнул, протянул:

— Выбирайте!

Глава двадцатая

...Разбросала судьба всех по свету, кого знал он и с кем он дружил. Фимка где-то в Чикаго, в Америке. Толя, Клава, Руфина – в Израиле, а один одноклассник... в Австралии, как распался Советский Союз.

Как все эти дни, эти месяцы, годы, Тершавин сидел у себя, одинок. Как всегда, очень много курил, а особенно после их встреч. И, пока был один, он работал спокойно, не спеша и раздумчиво писал. Но, как только являлась жена (он не звал её бывшей, хотя был с ней в разводе), он работу оставлял, они спорили. Редко как удавалось – спокойно.

Она вышла из своей комнатки и вошла в их бывшую гостиную, отделённую с дней их развода и оставленную за ним по умолчанию. Как всегда – болевая, заплаканная. Села рядом, скосилась на рукопись. Подняла глаза, как бы спрашивая, удивляясь, что это – не стихи.

— Не стихи, – сказал он, хоть она не спросила. Здесь – фрагменты моих мемуаров.

Они долго и больно молчали... Он курил, она кусала губы и... быть может, ему показалось: на щеке у неё возник тик. Чуть заметный пока, ещё редкий. Может быть, он пройдёт, может – нет.

— Что же в них? Там я есть?

— Нет, там только одни заключённые. Те, что были, когда я там был.

Она встала, взяла папиросу, прикурила от его чубука. Посидели опять, помолчали.

— Я видел у тебя «Архипелаг ГУЛАГ».

Она ответила не сразу, а как бывало: оживляя в себе застывшее постепенно и тяжело:

— Да, миллионы сидели... Но вы – выжили. Вы живёте. С вас давно обвинения сняты.

Эта тема была бесконечной. Вся – пожизненно – в

ней. Но... сейчас?! В новом веке, когда им под восемьдесят?

— Сколько лет с той поры... — изумился он шёпотом.

— Целая жизнь.

Она помнила, как мама поспешно сняла со стены портрет отца, тонко-тонко его сворачивала, чтоб затем унести.

— Мама, может, не надо? — прошептала она. И... зарыдала.

...А потом уже не было мамы, когда минуло двадцать лет. Вскоре после доклада Хрущёва возвращались в страну именина. Их оправдывал суд, они снова звучали, но её, их семью этот пыл не касался.

А отец — он отец. Эти чувства боролись, что тогда, что сейчас, вызывая в ней боль. Чувство крови, всплеск памяти, что нельзя подавить.

Взрослой женщиной и суровой отыскала она портрет. Он лежал на чердаке под таким слоем хлама, что и в обыске вряд ли б нашли. Долго-долго смотрела и... свернула опять. Но лежал он теперь в их гостиной.

А ещё через восемь лет обрела для него раму чёрную и... посматривая на мужа, повесила. Он не стал возражать, чтобы не наносить ей боли.

Так и жил он, известный поэт, в прошлом узник НКВД. Над стихами корпел, мемуарами, а когда поднимались глаза...

Она глянула вверх, снова долго смотрела, как тогда, в пятьдесят шестом... И глядел с чёрной рамы на дочь полный сил, тридцати семи лет... тот, кого так любила и любит.

Палач тридцать седьмого.

Отец.

Глава двадцать первая

На следующий день, через неё, мятущуюся меж двух лагерей, в их руки попало письмо в Мосгордуму от жителей улицы: протест.

— Вот... смотри, что творят... – колебалась она, показав его всё-таки мужу. Это был чистовик, данный ей для отправки, только мужу сказала: «Нашла».

Он задумался...

— Пошли к Ангелине.

Там читали. В нём было не так, как в плакатах, не в лоб. Никаких ярлыков и – грамотно. На закон была ссылка, что правильно. И достаточно было б того, но всегда ведь стремятся усилить. Указали, что он... в войну служил у немцев. Это было одно из обвинений, «стандартных» при жизни писателя, всегда голословных и несостоятельных. Но, когда началась его травля, была к месту любая ложь.

— Это о нём, капитане армейском, прошедшем с боями войну! – возмущался в который раз Кирилл Губин. – В том повинном, что понял: пора убрать Сталина.

— Оплошность, – задумывался Антонов-Овсеенко. – К любым выводам приходи, но молчи. Понимал же, что письма читают.

— Ну, а с этим письмом что делать? – вопрошала Ангелина Васильевна.

— Отправить! – заявил директор музея. – Эти методы не для нас. Как оно к нам попало?

— Я нашла его, – не сразу откликнулась Смаева.

— Где?

— На улице.

Антон Владимирович молчал. Было видно, что он недоволен.

— Юридически они правы, – сказал он наконец. – Дважды правы, – задумался он. – В законе не только сказано: «спустя десять лет после смерти», но и – «да-

вать имена новым улицам». Новым, а эта... – он усмехнулся, вздохнул, – слишком старая для такого.

– Что же нам, только ждать? – спросил кто-то.

– Делать то, что всегда. Расширять выступления. Говорить о репрессиях Сталина.

Разошлись с Солженицыным в сердце. Имя – честь для Москвы. В Думе нынче сидят люди вдумчивые.

Глава двадцать вторая

Сцена встречи с дожившими, жившими ещё и теперь, словно время застыло, днём и ночью лишала покоя. Всё это время со дня их контакта чувствовал он себя скверно. Но и тогда не болел, и потом, а состояние – как при температуре. Вроде жар, а лоб не горяч, градусник жар не показывает.

«Сколько их?» – думал он, обходя ряд домов. Он всегда полагал: сталинистов в обществе больше. Честно говоря, он надеялся, что у него станет много союзников. А по-настоящему их почти нет. Ему нужен был кто-то, с кем он мог бы делиться, вместе переживать неудачи.

Многие соглашались, подписывали, но когда он задерживался, пытаясь развить разговор, это казалось им странным: в конце концов, что за человек и что ему на самом деле нужно. Ему давали понять, что это всё, и хозяин с деликатной улыбкой открывал перед ним дверь.

Только на пятый день он мог сказать, что обрёл союзника. Это был средних лет, крайне нервный мужчина, может быть, даже чем-то больной. Весь в прыщах, лицо потное, при горящих глазах, быстрой речи, он представил себя как «учёный, изучающий личность вождя. Феномен, уникальность в истории!»

– Вот, – выкрикивал он, – статьи. – Открывая при этом тумбочку, он бросал на неё газеты. Тасовал их, как карты, искал, находя то одну, то другую. – Я пишу их для главной газеты Союза писателей России. Она так

и зовётся: «Общероссийская писательская газета»! И – без паузы, без передышки: – Вот ведь как, никого он вообще не убил! Это всё трепотня, разговоры. А где факты? Где факты?! – Он схватывался при любом упоминании Сталина, как если бы это был родной ему человек. И, о чём бы ни говорил, защищал его.

Молча, вдумчиво слушал Знаменцев. Но так он ощущал себя всю жизнь засекреченным, что и ему не открывал себя. Располагавший сотнями фактов и конкретных, через него прошедших дел, он был рад знакомству... в первый день и на завтра. Ему, именно ему, тот был не интересен, и он перестал заходить к нему. Затаившись в далёком-далёком, он носил свою тайну в себе...

Глава двадцать третья

...Над длинным столом слепого директора, заваленным книгами и листами бумаг, где при внешнем их хаосе был строгий порядок, висел, невозможный в связи с родством, портрет... отца директора. Когда посетитель, вызванный им порой по спонтанно возникшей задумке, входил, открывая дверь без стука, в глаза ему сразу бросался портрет, неординарный и редкий. Тот, кто на нём, не смотрел в аппарат, снятый всегда в полупрофиль. Лет сорока, с утончённым лицом, длинноволосый, очкастый. Весь – глубина, отрешённость, порыв, импровизация, импульс, так что смотрящий на этот портрет думал, что это... Антон Рубинштейн!

Никто, кроме музейных, не знал, кто это, ибо нигде не мог видеть портрета. А был это видный революционер, близкий соратник Ленина, о ком в учебниках полвека писалось, что именно он брал Зимний дворец, – Владимир Антонов-Овсеенко.

Счастливый, – писал о нём сын Антон Владимирович, – пришёл он со встречи со Сталиным, где тот посы-

лал его консулом в Испанию и произвёл неизгладимое впечатление на молодого соратника. «Мудрый», «всевидающий», – не уставал повторять он в тот вечер. А вскоре, по указанию Сталина, вызван он был и расстрелян. Пала в тюрьме и жена – мать Антона Владимировича...

Ему было шестнадцать. Он знал, что пока не падёт вся семья, вождь не будет спокоен. Он метался и ждал, днём и ночью...

Взят он был в отголоске Большого Террора, когда массовый шквал шёл на убыль. Когда усталь пришла к палачам от бескрайних кровавых деяний, и число одних только расстрелянных превышало миллион шестьсот тысяч... При десятках миллионов страдальцев из составов семей. Обнищавших, бесправных, с клеймом «члена семьи».

А вблизи... это было последнее, что запомнил сидящий в «кутузке», увозимый на долгие годы от таких же, на воле, ребят, – транспарант с золотистыми буквами на белёсом, а то голубом:

***Спасибо товарищу Сталину
за наше счастливое детство!***

Что ж, спасибо! За детство сиротское. За Лубянку! За лагерь, где он много лет возил воду на кляче. Труд не самый тяжёлый: был по лагерным меркам «придурок». Водовоз в осчастливленной жизни. Стаж возившего воду большой...

– Входите, – глядя невидящим взором на дверь, живо изрекает директор.

– Простите, что без звонка, – деликатно произносит вошедший. Кладёт кепку на стул и присаживается. Тот мгновенно узнал посетителя: этот голос не спутаешь, он один.

– Мы вас ждём! – загорелся директор. – И вы... с радостной вестью?

— Нет. Пока ещё нет... — Лужков мнёт в руках кепку. — Погодите, Антон Владимирович, не так сразу... — Он осматривается по сторонам: всё здесь так, как тогда, когда решал масштабное: открытие первого в стране Музея истории ГУЛАГа. И, как сейчас, тоже были противники. Сколько их... и тогда, и сегодня? Как можно не знать своей истории, не понимать событий...

Оба юрких, подвижных, небольших по росту, но с высоким импульсом активности, они с ходу понимают друг друга, даже если молчат.

— Чего ждать? — вопрошает директор?

— Будем думать, хорошего... Я пройду по музею.

— Ну, пошли...

* * *

...Они помнили, как сняли Хрущёва. Как в каждом из них сокрушались сердца.

Каждый видел пороки правления, но над каждым довлел доклад. Хрущёв был как символ разоблачения культа, и под знаменем пятьдесят шестого шли они полстолетия...

Стан бывших узников на знакомой нам улице ждал и верил...

Глава двадцать четвёртая

Как ни странно, он не был прирождённым чекистом. Сын портного и домохозяйки, комсомолец в начале войны, он окончил семь классов и трудился на мукомольной фабрике, где был выбран секретарём комсомольской ячейки. А потом был райком комсомола, где, советский в душе, выявлял и клеймил он изменников, и настолько на том преуспел, что когда по звонку Поскребышева надо было найти комсомольца, кто б достоин был сняться со Сталиным, там называли его.

Ближе к ночи машина повезла его в Кремль, где ещё часа два продержали в непонятной, закрытой «подсобке», как назвал он её для себя, и куда поместили троих активистов московских райкомов. А потом их вели коридорами, в дорогах утопавших коврах, в небольшую и скромную комнату, где сидели ещё полчаса. Каждый ждал: будет что-то особое в легендарности встречи с вождём. Каждый был на пределе волнения. Только Сталин вошёл по-простому: было видно, что сам он устал. Только... что это? Кто? Вот, ей-богу, если б им не сказали, что сейчас войдёт товарищ Сталин, он бы не узнал его. Не морщины, а... выемки, ямки на прокуренном, бледном лице. Или... бледность казалась от дыма, заслонившего сталинский лик? Не спеша опустил свою трубку. «Не такой... ну, совсем не такой...»

Сталин их оглядел:

— Кам-са-мольцы?

А они уж стояли по струнке, как вскочили при виде его. Усмехнулся:

— Са-дитесь, рассказывайте, кто чем дышит на ваших пас-тах. Время трудное. Знать, кто чем дышит, для нас чрез-вы-чай-но важно.

Сели по одну сторону стола, полагая Сталина напротив. Только Сталин сел сбоку стола, рядом с ним оказался Знаменцев... И они говорили, счастливые, а он слушал молча, устало... Струи чёрного дыма зигзагами поднимались и плыли наверх...

А потом сказал несколько слов. Юный Сидор запомнил:

— Каж-дый день на-да пом-нить: кру-гом — вра-ги! Выявлять бес-па-щад-но, без-жа-лостно!

Сталин встал и они поднялись. Двое дюжих парней переставили кресла, так, чтоб были два маленьких ряда. Сталин глянул на рядом стоящего, кто сидел только что к нему ближе, и рукой показал ему место. Сам сел в первом ряду:

— Са-дись, кам-са-мол!

Он был счастлив и горд, фото было в газетах, сам смотрел на него без конца... И когда через месяц пригласили его в МВД¹, предложив перейти к ним на службу, для него это был не вопрос.

Глава двадцать пятая

Навсегда он запомнил первый день в МВД, вблизи Преображенки. (До Лубянки, где руководство, оставалось лет семь). Как явился в среду незнакомых людей, в кабинет капитана Главрова, и... застыл на пороге от действия, которое производил капитан.

— Входи, — сказал тот, не подняв головы, не отводя глаз от тонкого огонька зажигалки, под которым корёжился и сгорал небольшой лист бумаги, разорванной, было видно, на клочки. Чуть дальше отодвигая пальцы от ползущего к ним огонька, а казалось, вот-вот огонёк их затронет, он дождался момента разлёта измельчённых фрагментов золы...

Это был первый строгий урок: ничего не оставлять потайного, даже разорвав на клочки. Клочки можно сложить. Клочки подлежат сожжению до последних букв, до золы...

Это был ритуал. Действо первое, в таком виде бывшее только здесь.

Капитан пододвинул пепельницу, сыпал золу, помахал, чуть развеяв дымок... И впервые взглянул на вошедшего.

— Главров, — подал руку. Взгляд цепко рассматривал нового, которого надлежало обучить. — Александр Васильевич, — добавил он, не отрывая взгляда.

¹ Так с 1946 года назывались органы НКВД. КГБ возник в 1954 году.

— Знаменцев. Сидор.

— А по батьке?

— Прокопьевич.

В кабинете стояли два стола, и Главров показал на второй:

— Занимай.

И ещё среди кадров дня первого было то, как вели... полковника. Сидор вышел тогда в туалет, и опять, поражённый, застыл. По длиннейшей ковровой дорожке с чёткой выправкой двигались четверо. Все – с винтовками наперевес: капитан, лейтенант, два сержанта. А меж ними, в полутора метрах от двоих, кто был сзади и двоих впереди – арестованный ими полковник! Далеко, в самый край коридора прошагала процессия, а он так и стоял, с непривычки застывший, позабыв, зачем вышел, куда...

Первый раз ощутив силу тех, к кому сам становился причастен.

Глава двадцать шестая

К дням начала его в МВД свежим было убийство Михоэлса. Он потом много думал, что и там бы себя проявил. Дело, может быть, самое крупное из других, что прошли до него. Говорить о нём было опасно и могло быть наказано смертью. Но у них о нём знали. И не только у них. Он всегда удивлялся, как много людей – представителей нескольких служб – чётко знали, за несколько дней, что должно состояться убийство! Пусть бы был рядовой – тоже было бы странно, а то – всем известный. С высшим званием служителя сцены – народный артист СССР!

«Даже ныне, – раздумывал Знаменцев спустя шесть десятков лет, – в ход пустили доступную версию, по которой его привезли поздно ночью во двор, где убьют. – Он растягивал губы в улыбке. – Я-то знаю, что было не

так. Там никто никуда их не вёз, эти две неизбежные жертвы»¹.

Сидор Знаменцев знал, как убили, ещё в сорок восьмом, по следам...

...Через сорок лет после убийства дочь Михоэлса Наталия Вовси-Михоэлс издала в Израиле книгу об отце. Небольшим тиражом – 400. Из них 10 взяла в Москву – подарить его бывшим коллегам. Это всё очень старые люди, очень скоро не стало и их. То есть книгу в России не знают, а ведь там лишь – правдиво, как было.

Дочь актёра писала, что спустя шесть лет после убийства (стало быть, в пятьдесят четвёртом) в их московской квартире раздался звонок. Незнакомка сказала, что видела, как убили Михоэлса, и просила о встрече с семьёй. «Приезжайте немедленно!» – отвечала Наталия. Оказалось, та – после колонии, где сидела шесть лет. Молодая, взволнованная, она рассказала, что была тогда в Минске студенткой, и в ту ночь шла домой из гостей. Проходя мимо театра, увидела: из дверей вышло двое мужчин. «Странно: три часа ночи...» – пронеслось в голове. А стоявшая рядом машина уже ехала прямо на них и вдавила обоих в стену...

Она закричала от страха и бросилась искать милицию. Там сбивчиво рассказала, что видела, как убили двух человек. Капитан, кто её допрашивал, спросил: «Откуда вы знаете, что убили Михоэлса?» А она ведь не знала – кого. И впервые услышала...

Утром её отправили в колонию, где она отсидела шесть лет. Там узнала, что народный артист СССР

¹ Вместе с Михоэлсом был убит пребывавший с ним в этой поездке балетный критик Голубов-Потанов. Много лет считалось: потому, что разъединить их было хлопотно. Но потом выяснилось: критик был агентом НКВД.

Соломон Михайлович Михоэлс погиб в результате... несчастного случая. И стремилась, когда освободится, разыскать семью, рассказать...

То есть сколько людей были в курсе, если знал капитан, кто дежурил... Вся милиция, всё МВД...

Но сейчас, стариком, он хвалил это дело: обрётён и усилен был опыт. Ну, не прямо, так косвенно, он учился на нём. Не случайно тогда и потом стало частым убийство-наезд. То есть смерть от несчастного случая.

Глава двадцать седьмая

Время шло... Развивалась методика виртуозных манер КГБ. И к дотошному давнему опыту добавлялись такие методы, пред которыми старый наезд уже выглядел чем-то убогим.

А в Рязани писал, озираясь на них, Солженицын. Всё трагичное прошлое, страхи каждого дня обозначили нервным лицом.

Сколько сил он отвлёк на себя – неподвластный и неупокойный! Сколько может один человек побуждать, поднимать, будоражить...

Бдительность органов в отношении Солженицына усиливалась с падением Хрущёва. Знаменцев видел его как границу в позиции КГБ по Исаичу. И хоть писатель давно не рассчитывал на «высочайшую» поддержку, Хрущёв, разрешив его повесть, против него не шёл.

Для Солженицына наступил период вынужденных, невольных метаний, планов передать рукописи за границу, и это не уходило от Знаменцева. Как сам он считал, по Исаичу деликатный период окончен. Главным в нём была тайная слежка.

— Разрешите войти? – Сидор Знаменцев отчеканил в открытую дверь.

— Перестань, — рассмеялся Главров. — Заходи и рассказывай.

Весь седой, — Сидор снова всмотрелся, как тогда, в дальнем сорок восьмом. Под глазами Главрова впали вмятины лет, а прошло-то всего четверть века. Вместо тех четырёх малых звёздочек на погонах тогда капитана засияли три крупных звезды.

— Всё — на плёнках, товарищ полковник. Передача пройдёт завтра в семь.

— Место то же?

— Так точно.

— Изменения есть?

— Никак нет, товарищ полковник. На двух — повесть «Раковый корпус». На пяти — роман «В круге первом».

— Всё?

— Всё, — товарищ полковник. Разведданных нет. И... быть не может.

— Почему? — рассмеялся Главров.

— Ему это не надо. Его жизнь — в другом.

— Ручаешься за него?

— В этом — да.

— На твою ответственность. — Главров встал, прошёлся... Открыл сейф, извлёк кипы бумаг, упакованных в папки. Это были... роман и повесть в распечатках с тех плёнок. Они оба прочли их и знали, хоть никто их в стране не читал. Прежде, чем Солженицын извлёк их из тайника, чтобы передать на Запад, их оттуда извлёк Сидор Знаменцев. Переснял и положил, как лежали. Сделано это было так, что если бы Солженицын мог увидеть, он бы не понял, что снимают.

Главров полистал их, задумался...

— Не препятствовать. Пусть вывозят.

Знаменцев посмотрел вопросительно. Но сказал:

— Есть!

— Можешь идти.

Сидор вышел. «Не препятствовать, — думал он.

– Пусть вывозят». Запад так или иначе прознает, и роман у них выйдет, и повесть... «Не препятствовать, – повторял он мысленно. – Пусть печатают! Нужен шум... Нужен повод изгнать из страны. Или... в тайне, надёжно упрятать. Так, чтоб даже семья не узнала, где он есть».

«Эка нежность невидимых связей, – вспоминал теперь старый чекист. – КГБ чувствовал Солженицына, Солженицын чувствовал КГБ». Но пропорция была обратной: чем сильнее их сети тянулись к писателю, тем мудрее, изобретательней он от них уходил...

Глава двадцать восьмая

А потом...

Головой качал старый Знаменцев, как всплывало пред ним, что потом.

Потом жуткое было. Потаённое. Угрожавшее жизни и психике.

Может, вспомнить, как он присутствовал на святой святых их площади – на... сказать даже страшно... узенькой по составу доверенных лиц, тайна в тайне закрытой «планёрке», где решался вопрос изоляции Неподвластного в психушку.

Всё было чётко продумано. До секунд. До мельчайших деталей. И по мёрзлой дороге к Рязани уже гнал он свою легковушку, дабы там, при захвате внезапном, не сорваться в последний момент.

Только был Неподвластный умнее. Чужал их, нюх был тонким, болезненным. Он... исчез. Может быть, за минуты до звонка в его дверь санитаров. А за ближним углом их окраины с ложным номером ждал грузовик...

Санитары вернулись ни с чем. Доложили ему об отсутствии. И тогда он рискнул! Сам, хоть делать того нельзя было, поднялся на крыльцо Неподвластного,

позвонил – по-открытому – в дверь. А за дверью... игра на рояле, и звонок был не слышен его.

Что он делает! Что за легальность! – он застыл в леденящем поту. – Что он хочет, рискуя, выдавая себя, проводник и куратор самых трудных их дел...

Ничего, он сыграл бы. Он знал: дверь откроет жена, Решетовская. И тогда... самым вежливым тоном, улыбаясь, как он это мог, он предстанет как друг её мужа: «Ну, вы помните, право, меня...» – «Вы дружили?! – она усомнится. – Я не знаю вас», – скажет она.

Он войдёт. Он сыграет. Разведает. Он попьёт с Решетовской чайку.

Так стоял он за дверью и видел эту сцену почти целиком... Но – оттуда всё более страстно нарастала игра полонеза, и искрящие, пыльные звуки отвлекали от пагубных дел... «Может быть, – он подумал тогда, – мне сам бог посылает одуматься, не вершить сей рискованный шаг?»

Он – ушёл. Сел в машину, уехал...

...А сейчас, в этой келье московской, осенило его, старика: они знали, возможно, откуда-то! Муж исчез, а она, понимая, что сейчас будет в дверь их звонок, отстраняла игрой на рояле их, прочуянный ею, приход. Если так, то его и их площадь повела эта умная пара.

Потайные бои с Неподвластным. Тем, прожжённым, прошедшим ГУЛАГ...

Глава двадцать девятая

Появились интервью, где виновный, в прошлом связанный с КГБ, не ожидая упрёков, переходил в наступление, как если бы был инициатором такого интервью. Он по-прежнему обвинял пострадавших, и, пытаясь опередить события, заведомо оправдаться, защититься, утверждал: «Мы были правы. Они – враги!»

В страхе читал это Знаменцев. И... написал в таком духе статью: мол, Солженицын виновен! Благо, пол-

года, как умер Исаич, а других свидетелей нет. Хотел было подмахнуть псевдоним, но, поразмыслив, не стал. Статью напечатали в непопулярной газете. Он даже был рад, что прошло незаметно, он не напомнил о себе.

Никто его не трогал, но ему казалось... Что казалось, он бы не объяснил.

Жизнь шла... То одно, то другое событие колыхали больную память... Странно: ещё недавно, при жизни Солженицына, где сам факт, что он жив, был опасен, Знаменцев сжился с этим, привык: тот давно ничего о нём не знает. Он ведь мог умереть, Сидор Знаменцев. Надо только жить тихо: тот всё более стар и живёт далеко, в Подмосковье...

И вот умер Исаич полгода назад. Было ему без чуть-чуть девяносто. Знаменцеву исполнилось восемьдесят. Кто-то позвонил: «Вы слышали?!» Радость бурная в первый момент... Но наплыли, сдавив, волны памяти... Хаос памяти, если точнее. Всё, что связано для него с этим именем – не конкретно, не в образах сцен, а – как чёрные сгустки тревоги, возбуждая пожизненный страх... Он покрылся холодным потом (хорошо, что по телефону не видно: руки его чуть тряслись). Но заставил себя сказать естественно:

— Да, конечно... Какая потеря!

Он поехал на панихиду. Почему, что его потянуло, он не мог объяснить и себе. Вряд ли мог поступить импульсивно: вдруг решить и пойти. Что-то было гораздо глубиннее, что гнало его в эту дорогу... Что звалось, если б он сформулировал: избавление памяти от страха.

Ждал, что будет, как у Гайдара: там, у входа в Траурный зал, была масса людей знаменитых, кого узнавал он по портретам. Здесь могли они так же быть, да и сотни народа простого, но с утра, целый день, хлестал дождь, и поэтому многих не было.

Знаменцев шёл через дворы, где и в солнечную погоду можно путаться. Он не взял с собой зонт, весь про-

мок, зубы мелко и быстро стучали, но вернуться домой мысли не было: ощущалась потребность здесь быть, словно ливень мог смыть всё плохое, всколыхнуть незнакомую совесть.

Вот и двор перед Траурным залом. Группки, группки людей под зонтами... И вдруг он увидел, как из Траурного зала выходит окружённый охраной Горбачёв. Он был первым и даже последним, кого в этом дворе узнал Знаменцев. Он забыл, что стоит без зонта, и, раскрыв рот, смотрел, как встал посреди двора Михал Сергеевич (он так и звал его про себя: Михал Сергеевич). Стоит вдумчиво, быть может, тревожно. Двое «лбов» из охраны, справа-слева, поднимают над ним зонты...

Группки рассыпались, Горбачёва окружили, и какая-то женщина, на вид невзрачная, которая назвала себя Эльда Федова, подошла и удивлённо спросила: «Михал Сергеевич, как могло это быть, что вы сюда пришли?!» Он взглянул на неё задумчиво, последний Президент Советского Союза, и ответил просто, естественно: «Ну, почему же. Я высоко ценю его как писателя. Пришёл отдать последний долг». Знаменцев стоял близко, слышал...

Вошёл в Траурный зал. Как грибы по всему пространству, редко, правда, вкраплённые, – и не сразу поймёшь, что это – крупные седые головы мужчин. Обнажённые, лицом к гробу... Он смотрел им в затылок. Сколько их – седых, старых, словно других тут нет? Он стал двигаться к гробу поближе, но... остановился. Ноги сами не вели его дальше. Он испытывал тяжесть органов, что давили его внутри: слишком много всего пролегло между ним и лежащим в гробу... Нет, в глаза его, даже закрытые, ему лучше сейчас не смотреть. Страшно было увидеть, даже мёртвым, это крупное, с бородой, ярко выраженное, измождённое смертью лицо.

Глава тридцатая

...Сидор Прокопьевич, мокрый до нитки, не шёл, а бежал с панихиды. Как у ампутированных, в плохую погоду вдруг заболит рука, которой нет, так испытывал он сейчас боль от лица, которого не увидел. Плащ не мог его уберечь, и под воротом намокал костюм, а перед глазами как наваждение стояло лицо с... смотрящими из глубин впадин черепа глазами. Они смотрели на него, как тогда, на том давнем собрании... И не от ливня – скорее от них! – он ускорял свой бег...

Ливень усиливался. Он взял такси, и шофёр с лицом Солженицына сказал: «Господи, что это с вами?»

Так вошёл он в свой дом, но не стал подниматься на лифте, а пошёл очень медленно по ступеням на высокий девятый этаж, останавливаясь через две-три ступеньки, продрогший. На площадке шестого этажа стал у открытого окна с решёткой. Руки сами вцепились в неё, и, не думая ни о чём, стал перебирать её острые боковые края окоченевшими пальцами... Они ранились, резались о железные заострённые лезвия, но ему было так даже лучше.

Так вошёл он в квартиру, весь в воде и крови, и вода, текшая с головы, с плаща, не смывала кровь, а с ней смешивалась, довершая его хаос мыслей, мрак его состояния.

...Ему, тайно ведущему дело Исаича, так сказать, в деликатных границах, и уж, чего доброго, не воевавшему с ним, довелось тогда, «в силу общих задач», взять на себя мрачней мрачных задачу: убить, уничтожить его. Но т а м знают, что делают. А за «там» должен быть самый верх...

Правда, трудно было представить, как эти старые люди, которым, он видел по телевизору, трудно было выстаивать в часы длительных славословий, когда награждали одного из них, и главный наградитель – ста-

рик явно больной, шамкающим ртом гнусавил: «Дорогой то-варищ...» и смолкал, чтобы воздуха набрать, а то речь длинная и на всю не хватит, – как мозгуют они убийство известного писателя. Этот, что ли, едва держащийся, еле живущий, вздумал покончить с писателем Солженицыным?

Все они, во главе с этим... кто никак не вызывал добрых мыслей, представляли теперь ту власть, за которую, чтоб им было вольготно шамкать ртами, тыщи тысяч самоотверженных жизни отдавали. Не знавших и не умевших произносить длинных, нудных речей. Не мечтавших простаивать на пути к светлым идеалам.

...Кровь сочилась и падала на пол с чёрных рук от решётки... решёток... Он сидел уже в кресле, куда бухнулся, так и не сбросив плаща, не сняв мокрых брюк и рубашки.

Посидеть бы сейчас с Пятидольным, вместе вспомнить... а лучше не вспоминать... просто сидеть молча... в страхе. «Ну, да что это я, – он одёрнул себя: тот семь лет как почил, царство ему небесное... Странная это была связь: Пятидольный – бывший министр (председатель Комитета государственной безопасности), и он, Знаменцев, при Пятидольном редко общавшийся с ним. Но таких, как они, п р и ч а с т н ы х, оставалось всего ничего, и оставшиеся тянулись друг к другу, словно рядом с подобным себе ощущалось в душе облегчение.

А когда-то ведь именно он – да, ни больше ни меньше, министр! – контролировал, он это чувствовал, где-то там, высоко-высоко, каждый шаг Неподвластного, его близкую смерть... То, что было «не можно», что отвергнуто им для попытки убрать Хрущёва, то без всяких преград было можно тут: тот, о ком была речь – вне закона!

А ещё и полковник Главров, кто над Знаменцевым. Разработчик глобального плана. О, Главров, кагебист из тридцатых («КГБ всегда прав, запомните!») Тот, ко-

торый его принимал в первый день в МВД... Тонкий, вышколенный, седой, орден Ленина на груди и «колодок» ещё штук двадцать.

— Вы стоите напротив, на втором этаже, — полный холода голос Главрова вдруг раздался в ушах, как тогда. — Через матовое стекло вас не видят.

...Покалеченный в кровь, Сидор Знаменцев вдруг попробовал встать, но не смог. Весь тот день, всё прохладное утро, все детали открылись пред ним.

...В ноль-четыре условного времени контролируемый им человек, что стоял позади Неподвластного в длинной очереди за хлебом, абсолютно невидимым жестом оттянул свой карман, и рука его в нём, от усталости, сорвалась чуть вперёд, чуть вздрогнула... Через пару секунд Неподвластный вскрикнул, но было неслышно. А когда повернулся, стоявшего за ним не было. Всё — один к одному и секунда к секунде — сработало. Неподвластный не понял, было ясно. Сидор видел, как он потёр спину ближе к ягодице, влево-вправо взглянул и пожал плечом. Очередь подходила ко входу, и он в ней достоял, а когда выходил с буханкой, шаг его уже был неверен. Уловить это мог только Знаменцев, ни на миг не отлучая взора.

Да, была тогда радость победная, и путёвка ждала в санаторий. А давали её в таких случаях за особый успех. Но... ему её так и не дали. Он тогда много дней, сквозь цепочку агентов, где никто друг о друге не знал, наблюдал вдалеке Неподвластного. Тот, видать, долго мучился, но ведь жил, собака! Ведь жил...

Страшно было тогда за себя. Ох, как страшно...

Глава тридцать первая

Вспоминая об этом, а ещё и о многом, стал бояться он выходить из дома, словно кто-то за все его подвиги мог сейчас отомстить. Брал альбомы, где снимки коллег. Каждый – с дарственной надписью. Вот Пахомов, полковник... вот Шилов, вот Брандт... Когда после доклада Хрущёва они стали дрожать за себя, Брандта разоблачил вернувшийся из лагерей: тот ему на допросе выбил челюсть! Брандт был тут же уволен с понижением звания и... каким ещё чудом не сел!

Ну, а вот милый сердцу начальник... генерал теперь, где-то на пенсии, престарелый Главров. А на снимке, где он – людей много, все в пижамах, халатах, всем весело, и обилен их стол. А Главров – молодой, смеющийся, сколько радости в серых глазах... Сидор глянул на оборот: где это? И... даже он, кагебист со стажем, обомлел, прочитав: «Санаторий НКВД, январь 1943 г.» Сидор вспомнил, что знал из истории: в это время пылал Сталинград! Гибла масса людей на фронтах, а в дальних тылах голодали...

«Вот ведь где-то живёт, не боится... Или тоже весь в страхе, как я?»

Ни тогда, в отпусках, когда сам отдыхал, ни в года до доклада Хрущёва, этот страх за себя был неведом. Сила органов – власть над людьми. Пусть другие дрожат, ты – властитель!

Страх возник, когда брали коллег. Правда, случаев таких было мало. Но он рос, становился сильнее...

Сколько можно так жить, сколько – чувствовать боль за лихие деяния в прошлом?

Как спустя много лет, в девяностых, он был рад возникавшему хаосу, когда пал СССР, угнеталось хозяйство и вокруг был кричащий бардак! Хаос всё перемешивал, заслонял собой. В хаосе людям не до прошлого. Дай бог, чтобы не засосал, чтоб выдержать...

И опять, и опять – тот гнетущий февраль, тот по коже мороз от доклада, что читался тогда не для всех, на закрытых – пока что! – собраниях. В том году застрелился Фадеев: раскрывались ворота ГУЛАГа... Сотни, тысячи чудом доживших возвращались в родные места...

Глава тридцать вторая

А между тем пришло известие об утверждении постановления о наименовании бывшей Большой Коммунистической улицей Александра Солженицына. Лагерь бывших узников ликовал. Тихо, пламенно, интеллигентно, как радовался бы и сам наш герой.

Вдоль улицы сокрушались таблички с отжившим, приевшимся – «коммунистическая» и на их месте возникали другие, такие же светлые, как этот день. Может, станет он праздничной датой всех политзаклужённых, кто знает...

Много их, несмотря на мороз, побывало здесь в этот день. А старая Ангелина Васильевна брала у рабочих таблички, держала лесенки, помогая рабочим, и слёзы капали из её глаз.

Знаменцев онемело читал это постановление. Кружилась голова, сох рот, давило горло. Но, странное дело, по мере того, как он глядел в окно на эту праздничную толпу, его потянуло на улицу, словно к месту своих преступлений. А может быть, тут сказался тот неписаный и необъяснимый закон, повинуюсь которому, он поехал на панихиду?

Многие с ним здоровались, помня его со списком. Кто – равнодушно, кто – с ехидцей:

— Так это у нас не получилось?

Он, не теряя достоинства, кивал и шёл мимо...

На одном из углов табличка выпала из рук рабочего, стоящего высоко на лесенке. Знаменцев поднял и

подал. А на углу, где улицу пересекает бывшая Малая Коммунистическая, а теперь – Станиславского, стояли Губин и Ангелина Васильевна. Он сделал вид, что не видит, благо был на другом тротуаре, и хотел пройти мимо, но Губин рванулся к нему и радостно провозгласил:

— Н а ш а улица! – И, то ли от радости, то ли забывчивости, подал руку. Сидор пожал её.

— Наша взяла! – в глазах Губина был такой неподдельный восторг, что Сидор невольно усмехнулся. И, хоть Ангелина Васильевна косилась на них, не одобряя, но при восторженных возгласах Губина заулыбалась и она.

Им было легко, как после освобождения, и, глядя в глаза соседу, сама того не желая, сказала:

— А вам это... как?

(«Распознали?! Нет, вряд ли»).

Он усмехнулся. Сузил глаза, и без того исподлобья глядящие, и спокойно сказал:

— Как всем.

И, поклонившись, проследовал вдаль от их дома...

Впрочем, он их в эти минуты мало занимал.

Глава тридцать третья

На пути его долгом было много смертей и уходов по собственной воле. Да, Фадеев! Всё тот же Фадеев... Знаменцев был с ним знаком, и на руку было Лубянке, что он «направлял» к ним коллег, но Сидор Прокопьевич видел, как тот разрывался в душе... Как делал, что было угодно тому, кто его направлял, но взгляд стал его беспокойным, тревожное стило в крови.

Он встретил его в Переделкино, идущим вдоль кладбища вверх. Писатель был явно нетрезв, и это бывало всё чаще. У них были тайны, и их, кроме них, не должен был знать никто. И Знаменцев, как обычно, спросил его о де-

лах. Ну, что-нибудь между стандартным, идущим после приветствия, и деловым, по работе. Фадеев его не слышал, был весь устремлённым в себя. Кивнул в сторону кладбища и отрешённо промолвил:

— Вот — мой удел...

И зашагал, не ответив, не постояв, как всегда.

А вблизи, у окраины кладбища, по весне, цвели яркие полевые цветы и по всей округе с речкой Сетунью плыла майская благодать...

...И уже в дальней дали, сорок пять лет тому, порешил кончить жизнь Кочетов. Говорили, а позже писали, что причиной был рак. Может, так, только Знаменцев помнил, как страдал он всегда под давлением, многомерным присмотром властей. И погиб от любимого строя, что держал его жизнь в узде.

...Накануне ухода писателя они встретились у него, на добротной, красиво ухоженной переделкинской даче. Тот давно не являлся в редакцию, хоть по-прежнему числился в ней. Должность главного, по умолчанию, КГБ оставлял за ним.

Только был он в депрессии, угнетённо молчал.

— Что болит? — спросил Знаменцев, подсаживаясь к дивану, на котором лежал больной. Тот сопел и был хмур, не ответил. Вчера врач, побывавший у них, шепнул домохозяевам: «Канцер». — «Надежда есть?» — спросила жена. Тот, как видно, помотал головой, слов Кочетов не услышал. Для него было ясно: конец. Он теперь никого не боялся, даже их. И впервые не Знаменцев — он! — посмотрел исподлобья, сурово. И тогда, в первый раз и последний, прокатилась в глазах его ненависть, так что Сидор в душе подивился, как-то люди относятся к ним... Он сдержался, сломил свою мстительность, и вопрос повторил:

— Что болит?

— Душа.

— А что так? — сделал вид, что не понял.

— Тяжко было все годы... Всю жизнь... Ох, как тяжело. — И опять та же ненависть, но совсем уж открыто. — Окружён и затравлен, как волк.

— Это вы-то?! — натужно, неискренне рассмеялся Знаменцев. — Вы всегда в положении главного, вас же так принимали в Кремле.

— Вот-вот...

Дверь открыла жена, поглядела с упрёком:

— Извините, нельзя ему сейчас...

Знаменцев сжал его руку и вышел.

В ночь ему позвонили с Лубянки:

— Кочетов застрелился.

И ещё... и ещё... и ещё...

Смерть души, а впоследствии — тела.

Глава тридцать четвёртая

Возможно, из-за мороза, улица, на углах которой высились неуютные слова, взбодрила и освежила его. Но, как только вошёл он к себе, в «крепость стен четырёх, в берлогу», тени прошлого вновь обложили его...

Он — преступник?!

Нет, он делал рабочее дело. Просто был на секретной работе. Направляло его государство на один из важнейших участков. Вроде как Днепрогэс по значению. Там и здесь, днём и ночью, отдавали все силы, чтоб когда-нибудь был новый, радостный мир. Светлый, чистый... Как войти в этот мир, если рядом — миллионы врагов? Кто не спит по ночам, только думает, как ему подточить государство. Как взорвать, разломать, сделать пакость. Как убить дорогого вождя...

Где же правда? Кто враг, если их оправдали? Миг за мигом, как у больных перед смертью, проносились пред ним сорок лет в КГБ...

...Вот он едет стажёром из Москвы в Ленинград

под конец «Ленинградского дела». Всю верхушку, всю власть Ленинграда убирали из жизни тогда...

...Вот с Лубянки своей контролирует сгон вагонов к Москве, к крупным центрам, дабы «Делу врачей» дать финал – депортировать целый народ! Мудрый вождь, величайший учитель не успел, не увидел конца...

«Сколько дел прошло, Сидор Прокопьевич.» – вспоминал в это утро чекист. В тяжких думах прошёл он по комнате. Отворил дверцы шкафа и достал свой мундир с ярким блеском трёх звёзд на погонах, как лет пять до того – у Главрова.

Разложил на сиденье дивана и провёл, словно глади, рукой... Любовался, смотрел безотрывно, словно видел последний раз...

«Мучит совесть... Как жить?!» – безысходно вздыхал незадолго до смерти Фадеев. Сидор Знаменцев гнал эту мысль и жил, а она отыскивала виновного. Он достал револьвер, что ему подарил сам министр за крупное дело, и подставил к седому виску...

Так прошло с полминуты... минута... две, четыре, а может быть, пять...

Он швырнул револьвер, и тот с силой ударил по стенке и упал, и пополз по полу. Он... не смог. Он, пытавший людей, выбивавший признания, направлявший их на смерть в ГУЛАГ, не сумел расчитаться с собой.

Он прошёл по гостинной в метаниях. Ощутил боль в руках от порезов, словно были они, как тогда, от бессчётных железных решёток... И щемящая вдруг боль в груди, словно тромб под безжалостным сердцем, охватила, достала его. Он схватился за сердце, но... рука не дошла. И застыла на миг, и упала...

А крепчавший мороз за окном украшал, разрисовывал стёкла...

Эпилог

Есть на сайте сибирского, в Томске, музея-тюрьмы НКВД, в глубочайших подвалах ГУЛАГа, то ли рубрика, то ли раздел, а быть может, и просто файл. Его имя – Последний свидетель.

Так вот, каждый из чудом доживших мог стать самым последним свидетелем. Ощущая в душе, что обязан, выявляя неузнанный дар... ну, не каждый, так многие становились писателями.

Это были несхожие перья. Каждый – с долей своих страданий средь миллионов трагедий других. Своим лагерем. Своей судьбой. Только, так же, как части разветвлённой системы лагерей образовывали единое целое, судьбы всех пострадавших, не сливаясь в одну, дали летопись в целом ГУЛАГа...



БОЛЕВАЯ ПРИЧАСТНОСТЬ

Вступление

1

Мне позвонил Игорь Бортников – брат популярного артиста:

— Я вам сочувствую, Валерий Ефимович. Ваша подруга умерла.

— Какая подруга? Игорь, в чём дело? – я был искренне удивлён.

— Как, вы не слышали? Внучка Сталина.

— Галина Яковлевна? – вскричал я. И... помедлил, полагая, что он меня разыгрывает. – А вы не шутите?

— Этим не шутят. Включите телевизор. Будут ещё передавать.

— Господи! – взмолился я. – Я же у неё недавно был... От чего она умерла?

— От рака. Сегодня. В госпитале Бурденко.

Я приходил в себя от сообщения.

— Игорь, она была прекрасным человеком.

— Знаю. И потому звоню.

— Но... какая она мне подруга?! Она никогда ею не была.

— Но вы с ней встречались.

— Только как журналист.

— Вы так тепло всегда о ней отзывались.

— Да, мне её безумно жалко... Господи, – простонал я. – Галина Яковлевна...

2

Повесив трубку, я вспоминал наше короткое знакомство. Не он ли, Игорь, ещё недавно мне убеждённо говорил:

— Что вы делаете! Зачем вы решили взять её интервью?

— Вы знаете меня, Игорь. Моя позиция в отношении Сталина не менее жёстка, чем у вас.

— Вот я и говорю. Зачем потомки палача? Приковылять к ним внимание – лишний раз возрождать его имя.

— И всё-таки я с ней встречусь. Другое дело – каким будет интервью.

— Как знаете, Валерий Ефимович. Я бы на вашем месте этого не делал.

3

«В самом деле, зачем? – думал я в эти дни. – При резком, непримиримом взгляде на тирана! Что за уступка своей позиции? Даже разовая. Даже на минуту».

Но я знал, что позвоню Галине Яковлевне.

4

Я взял её телефон из справочника Союза писателей России: она значилась как прозаик.

Правда, с книгами её я не был знаком, что обычно не позволял себе при интервью, где надо знать всё о том, с кем встретишься. Но здесь – тема Сталина. Настолько прошедшая через всю мою жизнь, до такой степени знакомая, что вряд ли нужна дополнительная подготовка.

Представившись, я спросил:

— Скажите, вы действительно дочь Якова Джугашвили?

— Да, – сказала она.

— Значит, вы внучка... у меня язык не поворачивается...

Она усмехнулась. — Да.

— Вы — член Союза писателей?

— У меня несколько книг.

— Что у вас, — спросил я. — Стихи?

— Нет, повести и рассказы.

Я попросил у неё что-нибудь для »Музы» (хотя звонил ради интервью).

— Есть два рассказа, — живо ответила она. — Один будет в »Дружбе народов», а другой...

Она замолчала. И я понял: другой пока в столе.

— Хорошо, мы дадим другой.

— И... всё-таки, тот, который в »Дружбе народов», если можно.

— Не будет ли это неэтично по отношению к ним? — спросил я.

— Раньше было строго. А теперь одни и те же произведения появляются в нескольких местах.

— Хорошо. Дадим этот рассказ, — я почему-то ей мягко уступаю, хоть мы не даём повторных материалов.

— Вы посмотрите сначала, — рассмеялась она. — Может, он вам не подойдёт.

— Я... под гипнозом вашего имени (Что со мной? Почему я так говорю? Знала б только она, под каким я гипнозом!)

— Если не подойдёт, никакое имя не поможет. Как вам звонить?

Я продиктовал.

— Моя семья, — говорю, — это я и дочка двадцати лет. Она может долго занимать телефон.

— Ничего, я дозвонюсь.

5

Сразу после неё позвонил Лазарь Шерешевский. Поэт, человек трагической судьбы, девять лет проведший в ГУЛАГе, он, естественно, осуждает сталинский режим. Я с ним солидарен.

Но сейчас почему-то говорю:

— Лазарь Вениаминович, приготовьтесь к тому, что я сейчас скажу. Никогда в моей жизни не было ничего подобного.

— Ну, я слушаю, — сказал он с любопытством.

— Две минуты назад я говорил с внучкой Сталина!

Тяжкое молчание — мне в ответ. Я почувствовал, что сглупил. Что вдруг выгляжу сталинистом, хотя это не так. И, что хуже всего, — наношу ему боль. «Да когда же он искренен?» — явно думает он.

— Вы знаете меня. Моё творчество, мои книги, — я словно пытаюсь оправдаться. — В них всегда традиционный раздел, где десятки стихов: «Вдоль стен ГУЛАГа».

— Да-а, — рассеянно произносит он. Но в его равнодушии слышу жёсткую ноту. И от того, что обычно он добрый, деликатный, за все годы мне не сказал ни одного невежливого слова, мне особенно больно.

— Что ж, — говорю. — Восприятие исторического имени как устоявшейся легенды спустя столько лет довлеет над сознанием. И... остановка перед легендой, невольная остановка, не есть солидарность в данном случае.

— Подводите философскую базу? — грустно усмехается он.

— Может быть... Моя жена видела Сталина на трибуне Мавзолея, и всю жизнь потом вспоминала об этом, хотя... ненавидела его, как дочь «врагов народа». Легенда первична. Она в подсознании. Знания же о личности меняются.

— Вы сами себя убеждаете перед встречей с потомком Джугашвили. И хотите убедить меня, что при этом — на прежних позициях.

— Может быть, — говорю задумчиво. И, не спрашивая, чего он звонил, кладу трубку.

Мне не надо его убеждать. И он это знает.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

6

Её муж, африканец Хосин Ибрагим, – во всяком случае, так он представился мне, – от рождения житель Алжира. Он надолго оставлял свой семейный очаг в Златоустинском переулке в Москве, и жена его – внучка Сталина – терпеливо его ждала. А он был в это время проректором в одной из тропических стран (где, в которой – Галина Яковлевна порой даже путалась сама), но сейчас он преподавал в Намибии, в одном из университетов столицы, куда она смогла впервые поехать только при Горбачёве.

...В тех давних для новых поколений послесталинских годах, когда был он студентом вуза имени Патриса Лумумбы, потянулась она к нему, – однокурсница, из семьи великого вождя, статус которого столько значил на его чёрном континенте! Генами Африки он сознавал, пусть подсознательно, подспудно, что умерший дед его подруги правил как вождь гигантским племенем, в слепом раболепии признавшим его божественную власть, и по законам диких джунглей был необуздан и жесток. Трудно сказать, что было в мыслях Хосина, но если это и было так, он ошибался не намного.

Трудно определить спустя полстолетия, была ли она тогда красивой. Правда, прямой и стройной она оставалась и тогда, когда я узнал её в 2005-м году. Длинное вертикальное лицо с крупными чертами. Волосы свисали с боков чётко остриженно и аккуратно, придавая ему законченность и строгий порядок. Но явную, яркую, редкую красу являли глаза Галины. (Даже в старости, в её шестьдесят семь лет, они поражали внутренним, излучённым из глубины огнём! К её глазам, взгляду мы ещё вернёмся).

Она изучала французский и готовилась стать переводчицей, и Хосин – франкоязычный алжирец – занимался с ней языком. Точней, попросту говорил на нём, а с кем лучше изучать язык, как не с его носителем.

В тот год, а может, чуть позже, вышла замуж Галина Яковлевна, две восточные свои крови – мудрую и глубокую еврейскую и стремительную, бурлящую грузинскую – побратав ещё и с африканской.

7

...Я вошёл в её дом, уже многое о ней зная, но историю её мужа услышал сейчас от неё.

Я успел рассмотреть её в дверях, пока раздевался, и успел обратить внимание на некоторое сходство с дедом. Правда, видное, если присмотреться.

— Есть теория, – говорю, – генов третьего поколения. В вашем облике явно есть... – я не договорил. Она улыбнулась доброй, ей одной свойственной улыбкой. И я уловил, как ей это приятно.

Проходя по гостиной, заметил снимок без рамки на серванте.

— Сталин, – невольно усмехнулся я.

Она предложила сесть на низкую, неудобную скамейку. (Должно быть, растерянность перед журналистом). И первое, о чём её спросил:

— Каково ваше личное отношение к бабушке?

— То есть как, какое моё отношение? – она несколько изменилась в лице. – К какому дедушке?

— К Иосифу Виссарионовичу.

— А каким оно может быть?! Я отношусь к нему, как к своему родному дедушке.

— Я задал этот вопрос, потому что Светлана в своих воспоминаниях пишет не только положительное.

— Потому что Светлана – ненормальная. А я нормальный человек.

— Не беспокойтесь, — заверил я. — Светлана этого не прочтёт.

— Пускай читает, — вздёрнула она плечом. И в глазах заиграла неприязнь.

— Где она сейчас? — спросил я.

— Жила в Лондоне. Теперь в США.

— В каком городе?

— Понятия не имею... Как-то немецкая тележурналистка предложила идею фильма о моей поездке к ней в Америку. Расходы брала на себя. Но я отказалась. Не хватало ещё: я приеду, а она захлопнет передо мной дверь. Тогда мне дали её телефон, но адреса не назвали.

— Вы что, поссорились?

— Ну ненормальная, я же говорю... Когда в середине восьмидесятых она «вернулась» в Советский Союз, я имела несчастье прожить с ней под одной крышей целых две недели.

— Как получилось, что вы встретились?

— Она была под покровительством Шеварднадзе, и пригласила нас всем семейством на Пицунду (со мной были муж и сын). Сначала мы жили там одни, потом она приехала с дочкой.

— А где вы жили?

— Там был колхоз-миллионер, и под его «крылом» мы находились.

— Это была госдача?

— Нет. Что-то странное... Дом двухэтажный. Мы — на втором, а внизу жил местный богач, как мы его называли, — «мафиози-Кукура».

Жили недели две, но незадолго до отъезда мои отношения со Светланой осложнились. Причём, муж ухитрился с ней сохранить прекрасные отношения, а я — нет.

— А с семьёй Василия есть контакт?

— Дочь его умерла года четыре назад. Сын, как вы знаете, — режиссёр в Театре Российской армии. Вижу с ним редко, потому что он почти всегда на гастролях...

Мы помолчали.

— Хотите чаю?

— Не откажусь.

Она растерялась:

— К чаю... ну ничего буквально нет.

— Бог с вами, Галина Яковлевна! И ничего не нужно.

— Будем пить голый чай, — она вышла.

«Красивая комната, — я посмотрел по сторонам. — Хотя... строгая. Большая, широкая. Картины на стенах. Диван, стол и стулья... Сервант, на котором «Сталин».

Она вносит чай. Два «голых» стакана.

— Даже сахара нет.

Ставит на низкий журнальный столик. Впрочем, такой же, как скамейка. Пьём почему-то молча (может, потому, что в таком положении не очень удобно пить?)

С одной стороны, я доволен: столько информации, которой нигде нет! Приеду и тут же, по свежим следам — в дневник!

С другой... Для чего я здесь? Целью было и остаётся интервью. А печатаем рассказ, за которым приехал. Об интервью пока ни слова. Хотя всё, что слышу, в него войдёт. Да и узнать её ближе не мешает.

Вместе с рассказом она дарит мне две своих книжки. По повести в каждой.

— Главную не дарю. Остались единицы.

— Это какую?

— О семье... в годы моего детства.

— О Сталине?

— Да. Но не только...

— Прочту в «Ленинке». В следующий раз смогу оперировать ею.

— Для чего?

— Интервью буду брать, Галина Яковлевна.

— У кого?..

...Было около четырёх, когда я вышел от Джугашвили. Слова о Светлане и «голый» чай побудили меня ехать в «Ленинку» и срочно, по свежей памяти, всё записать и поесть.

Я заинтересовался Светланой.

На памяти моего поколения имя дочери Сталина согрето было теплом. «Светлана Сталина и Светлана Молотова», – с любовью произносила моя мама, зная о них из похвальных фраз в художественных и мемуарных книгах, упоминаний в газетах и журналах.

...В шестидесятых я уже слышал от родственника жены:

— Она, знаете, странная...

— Мало ли что в народе говорят! — не соглашалась мама.

— Я работал с ней в министерстве. Народ тут не при чём.

— О, интересно. Ну так что?

— Странная... — замыкался он. То ли говорить ему больше не хотелось, то ли страх ещё не был изжит. Но мы наступали:

— В чём её странности?

— Надо слышать, что она говорит! И потом... отношения со своими детьми.

Она словно подыгрывала слухам. Меняла мужей. Оставалась в Индии в связи с одним из них. А потом...

Что было в Индии и что потом, я жаждал немедленно узнать. И прежде, чем записать встречу с Галиной Джугашвили, я поспешил к каталогу, вдоль мраморной лестницы прямыми углами образовавшему букву «П».

Глава вторая

9

Лазарь Шерешевский, «неглубокий старик», как назвал он одну из своих книг, стал близок мне с первых дней знакомства. Вдумчивый и философичный в каждой строчке, прямой, совестливый и честный, он принадлежал к тем, даже по логике немногим, кто, пройдя через ужасы ГУЛАГа, сохранил мягкость нрава и чуткость души. Словно не было девяти лет жутчайшей несправедливости и глумлений, Лубянки и приполярного Салехарда!

— Входите, — улыбается неглубокий старик и берёт у меня пальто. — Я как раз читал вашу книгу.

Мне кажется, он стал меньше ростом, хотя и без того невысок. Что ж, он двадцать шестого. Значит, семьдесят семь. И ещё стал сутулей, и в обличье стало больше откровенно от старика.

В комнате полутемно. И, так как она единственная, тесно. Низкий диван начинается буквально в шаге от входа, и, чтобы сесть на него, нужно протиснуться. А сев, ощущаешь скованность движений из-за столика, придвинутого вплотную.

— Как вы, Лазарь Вениаминович? — задаю традиционный вопрос.

— Неважно. — Он говорит так всегда. Но никогда — о болезнях. Хотя, кажется, нет болезни, которой нет у него. — Всё же решили писать о Джугашвили?

— Я что, по-вашему, буду писать хорошее? Если удастся, чтоб она говорила...

— Я когда слышу эту фамилию... — он не договорил, помолчал. — Думаете, внучка скажет вам плохое?

— Ничего пока не знаю. Встречаемся.

— Познакомились на мою голову, — шутит он.

— Нравится она мне. Она хорошая.

Он посмотрел долгим взглядом:

— Ну-ну...

— Хочу вставить, Лазарь Вениаминович, ваши строчки в беседу.

— А, вы об этих?..

Он принял лекарство. Помолчал. И вдумчиво прочёл:

*Без особой вины, по веленью войны,
Из землянок, из хат, из квартирок
Мы одною статьёй, как судьбой, сведены
В номерованной клетке Бутырок.*

*Истощённые тени зачёркнутых дней
Друг за другом проходят в сегодня...
Были дни голодней, были дни холодней, —
Только не было дней безысходней.*

Мы долго молчим.

— Это написано в тюрьме, в сорок четвёртом.

— Вас арестовали в сорок третьем?

— Нет, в сорок третьем призвали в армию. Арестовали в сорок четвёртом. По ложному доносу.

— Вас били в ГУЛАГе?

— Мой следователь меня не бил. Били уголовники. Один раз. Ремнями.

Вкралась пауза. Я думаю о том, что пусть ему невероятно было плохо, и лучшие годы юности проведены в тюрьме, но вышел он на свободу в пятьдесят третьем, и было ему всего двадцать семь. А через три года — с пятидесяти шестого, значит со своих тридцати лет, — он возмел преимущества как узник ГУЛАГа. Всё для него открылось, он мог широко печататься. И пользуется этим до сих пор. То есть почти полвека... А я? Я вспоминал, как было невероятно трудно. Через что прошли я и он...

...Мы долго ещё сидим и говорим о разном... Но, уходя, я задумчиво на него смотрю и представляю зону с колючей проволокой. Сторожевые вышки. Собак. И

уголовников, которые его били, бок о бок с которыми он маялся девять лет... И, отвечая своим мыслям, говорю:

— Всё равно я с вами не меняюсь.

Глава третья

10

В один из тех дней раздался звонок. Тот самый, которого я ждал и боялся.

— Я бы хотела, — сказала Галина Яковлевна, — взглянуть на ваш альманах. Я же его ещё не видела.

— Естественно. А как же иначе. Когда вам его привезти?

— Как вам удобно. Хоть сегодня.

— В пять, как обычно?

— Буду ждать.

Я положил трубку и... тут же ощутил, как всё моё тело сковал ступор. Вот он, этот день! Он наступил, когда я успокоился, хотя понимал: его не миновать.

Я вынул из шкафа коринфар и принял таблетку. Она долго лежит под языком, можно обдумать ситуацию. Она была острой. Должно быть, поэтому нагнеталось давление, а мысли крутились вокруг одного: что же ей показать? Который из номеров альманаха, чтоб он не травмировал, не обижал?

О, «Муза», где часто мы бичевали её любимого деда, когда к орудиям вставляли жертвы, их грозная память и перо! Не раз раненные и изувеченные любимым дедом Галины Яковлевны, чудом выжившие, они сохраняли свою огневую мощь! Их горькие материалы и сейчас полны ещё живой кровью...

Эти мстили за всё. Под их ударами рушилась проволока заграждений и открывались тайны пыток и жуткие козни Палача.

Я понимал: с падением Сталина падёт и последний день наших встреч. Но разве раньше я этого не понимал?

Не повторял про себя всякий раз, когда подходил к её подъезду: «Господи, если б она знала! Если бы только знала...» А перед глазами были залы, где приходилось выступать, бичуя кровавый режим, имя которому – сталинщина.

И я говорил себе: «Ты – кандидат на изгнание из этого дома!»

Было такое. И всё это есть. Ничего не будет меняться.

Я буду у вас, Галина Яковлевна.

Сегодня.

В пять.

11

Но и постигнув Галину Яковлевну как чуткого и доброго человека, ценя её искренность и теплоту, я видел, что не смогу нанести ей боль. Грубую, лобовую, жестокую. И лихорадочно искал такой номер «Музы», где б обвинений против «деда» не было совсем или были они не так остры. Прошло всё-таки столько лет, столько десятилетий, а уязвления, боль поколений не отпускали сердца. И чьи-то стихи, чья-то проза посвящены были этой теме. От упоминаний его как тирана до проклятий.

Я вспомнил слова Шерешевского на вечере в культурном центре, где кто-то его спросил:

— Как вы относитесь к Сталину?

Он поглядел в глаза задавшему вопрос и грустно, в раздумье ответил:

— Я отношусь к нему так, как он относился ко мне.

Он никогда не видел Сталина. Он видел ГУЛАГ. В течение девяти лет.

...Я глянул на часы, – мне скоро выезжать. Но... ни одного номера, который можно показать! А вот и мои стихи. Как грубо я обозвал её деда:

*Размах не охватит отважных идей,
Не начатых глав, дерзновений, –
Всего, что затмил в изначалье злодей.
Не вождь. Не учитель. Не гений.*

Может ли автор таких строк присутствовать в доме Джугашвили? Пить с внучкой, любящей его, пусть даже «голый» чай?

Чтобы не спутать и в спешке не вложить этот номер, я затолкал его в дальний угол в шкафу. Один за другим легли в сторону номера, где проза, в силу её специфики, была ещё более жёсткой. «Для внучки, любящей дедушку, – писал я в те дни в дневнике, – проза ГУЛАГа должна быть совсем невыносимой».

Номер за номером, страница за страницей... Мелькали жуткие места, – тогда ещё было много жертв ГУЛАГа:

...Первого сентября 1951 года, когда даже Буратино отправляется в школу, длинный состав телячьих вагонов, над крышами которых из надстроек торчат пулемёты, прибывает на станцию Тайшет. Слышится: «Уж тут научат Родину любить!..»

...И пригнали по первопутку очередное стадо в Озерлаг – особый, закрытый режимный лагерь, что тянулся вдоль трассы Тайшет–Братск... Я ещё на этапе... захаркал кровью.

...Тянули от Ангары ледяные ветра, когда в нижнем бельё вели меня санитары в предпоследний барак – открытой формы туберкулёза. А последним был морг.

*Платон Набоков, писатель,
внучатый племянник
Владимира Набокова.
10 лет лагерей. Озерлаг.
(«Муза», № 2).*

...На «мельнице», на «грохотах» пыль стояла столбом... заключённые болели силикозом, погибали в лагерьной медичке. Моё рабочее место было постоянно сырым. Одежда не просыхала и после работы. На «столах» отрав-

лялись кислотой и щёлочью. А сушилка считалась сущим адом: там задыхались от ядовитых испарений.

При длительном морозе свыше 60 градусов, когда при отгребании отвала у бульдозеров лопались сцепления «ножей», нас посылали вниз – пробивать ледяные пробки в выходной горловине лотка.

Ломиками вручную мы долбили ледяную корку... Те, кто ковырялись под лотком, впаивались в насыпь почти до колен. Сменщики выколупливали их теми же ломиками...

**Юрий Фидельгольц, писатель,
6 лет лагерей на Колыме.
(«Муза», № 4).**

Это ещё минимум. «Цветочки». Нигде прямо не называют деда Галины Яковлевны. Но страшное обвинение – ГУЛАГ! – на тысячи лет потомков нерасторжим от него.

А вот и прямо задела Сталина, как без этого обойтись:

...Видимо, он почувствовал с портрета всевидящий взгляд величайшего из всех усатых, и не договорил, не решился...

П. Набоков («Муза» № 2).

И получается: внучке Сталина нельзя показывать нашу «Музу»! И обойти её тоже нельзя.

А если... начать показ снимками ссыльных мест её деда, – мест, где он мучился, а не мучил других! Снимал их я сам. Очень, очень давно привозил домой с севера, из Восточной Сибири. (А недавно нашёл и готовил с разгромной по Сталину статьёй! Ну уж это ей знать не надо). Разложу, пусть рассматривает... И хоть дед был там в ссылках, но внимание к его биографии ей будет приятно, и на тёплой волне я выйму «Музу» и подарю её ей.

Так и порешил, вложив в портфель снимки Курейки, Туруханска...

Ну, как уж будет, Галина Джугашвили.

...Я очень внимательно слушаю Галину Яковлевну. Глаза её светятся будто изнутри. Волосы отливают как бы отражённым светом глаз.

— Так и живёте? — говорю я. — Муж по году в Намибии...

— А потом приезжает.

Она непосредственна. Мила. Озабочена семьёй. Судьбой сына. Веришь каждому её движению, слову... Почему же она не просит показать ей альманах? Для чего меня пригласила? Для чего я приехал?

И вдруг понимаю. Она... оттягивает этот момент, прекрасно осознавая, что увидит! Чует демократические органы печати и сознательно тянет. Как и я.

— Хочу показать вам снимки мест ссылок вашего деда. Судьба у меня сложилась так, что я побывал во всех из них, разве что кроме Нарыма. — Кладу перед ней два снимка:

— Это Сольвычегодск, где на экскурсии не называют Сталина, а говорят: «Один политический ссыльный...» Хотя накануне сказали, что мы посетим домик Джугашвили. А это — Курейка. Даже от Туруханска на отшибе. Чтобы добраться к дому Джугашвили...

Смотрю на неё и вижу... полнейшее равнодушие в глазах.

— Знакомое вам, Галина Яковлевна? Сами там были.

— Я никогда там не была, и это мне не интересно.

— Вы?! Не были в этих местах?

Она молчит.

Я удивлён: хотя бы из любопытства, не говоря о родстве, должна была она непременно объехать эти места! Но... как же я не подумал, как ей это тяжело.

Я вот туристом, весёлым и говорливым, объездил в молодости эти края. Снимал разрушенные над-

стройки над бывшими его домиками, с их надписями и матом, глазницами окон и битым стеклом, – загаженные в прямом и переносном смысле. А ей какво глядеть на эти... сольвычегодски и курейки – больные для неё места! Ей, любящей и защищающей любимого деда.

Деликатность не позволяет ей сказать мне: «Нет. Уберите снимки!»

– Не будем это смотреть, – мягко говорит она. И улыбается своей милой улыбкой.

«Какая громадная разница во нравах её и деда, – подумал я в этот момент. – Всего через поколение в семье палача с его звериной жестокостью, с кричащим равнодушием к судьбам людей, рождается... чуть ли не идеал душевного тепла!»

Зудила досада от родственной её близости к нему. Желание не знать о ней. Но... разве хоть на секунду я забывал, где нахожусь?! Разве давала мне это забыть её фамилия?

Так можно ли без конца играть роль в доме Джугашвили? Пришёл, видимо, час, без которого не обойтись.

– Неплохо бы дать беседу с вами. Дружеский, откровенный разговор.

– О чём?

– О годах минувших. Быть может, о хорошем, если вы видели его. Но и о пороках того времени. О разнице в отношении к дедушке – со стороны вашей и других.

– Хотите, чтоб я говорила?!

– Да.

Она испытующе смотрит. Но больше молчать мне не дано.

– Знаете, – говорю не громко и раздумчиво, – может быть, не случайно в эти дни я посетил моих друзей, – тех, кто сидел когда-то...

Повисшие секунды молчания.

– Кто они? – голос её звучит в полнейшей тишине.

— Писатели. Лазарь Шерешевский, Платон Набоков, Юрий Фидельголец.

— И вы... говорили им обо мне?

— Хотите откровенно?

Она молчит.

— Я начинал. Называл вашу фамилию. И... не мог продолжать, так они напрягались. Я не привык читать в их глазах такой ледяной холод.

«Бога не было!» — в ушах зазвучали пронзительные слова из повести Толстого: не устоял монах в монастыре! Когда-то немало погрешивший, давно и навсегда отрёкшийся от благ, он уступил знакомому порыву!

Не я ли зарекался час назад, что не смогу травмировать сию святую душу! Да, Бога не было. Был порыв.

— ...А ещё, — говорю в поразившей тиши, — есть понятие «Дети ГУЛАГа». Это сидевшие и это те, у кого отобрали отца или мать, арестовав нередко на их глазах!

Дети жертв ГУЛАГа.

И тут произошло неожиданное. Как только я произнёс «Дети жертв ГУЛАГа», она показала пальцем... на себя!

— Вот. — И улыбнулась при этом своей характерной улыбкой.

— О, господи, как я мог забыть: он же посадил вашу маму!

Сказал и обжёгся. Улыбка сошла с её лица. Здесь «он посадил» звучало не этично. Но главное... неприемлемо.

— Простите, — тихо извиняюсь я. Но тут же взрываюсь: слишком разяще. Дед упрятал в тюрьму её мать, но она... не осуждает его. Больше того: при ней нельзя говорить о нём плохо.

Я поражён.

— Скажите, вы любили маму?

— А как вы думаете! И она меня безумно любила.

— Помните её арест?

— Нет, я тогда маленькой была.

— Сколько она сидела?

— Два года.

— И что же: ей было хорошо?

Снова пауза.

— Когда ей сказали, — она говорит это тихо, трепетно, — что она свободна и может уходить, мама закричала: «Нет! Не хочу! Я никуда отсюда не уйду!»

— Значит, за два года её довели до такого состояния?

— Да.

— Знаете, — говорю, — у меня был друг, Валерий Мурадов его звали. Отец грузин, мама русская. Отец бросил его маму, когда она только родила. И та воспитала сына... против своего отца. Сын часто подтрунивал: «О, грузины!» И, пусть шутя, говорил о них плохо.

Разумеется, речь не о грузинах. Но воспитание сильнее крови.

— Нет, мама меня так не воспитывала.

— Вы потом жили вместе?

— Много лет... До смерти мамы в шестьдесят седьмом году.

Глава четвёртая

13

В тот самый год Светлана Аллилуева жила уединённой жизнью в США. Она продолжала так жить уже много лет, отдавшись воспитанию своей американской дочки и продумывая не то заветную свою книгу, что напишет, не то как объединить три прошлых книги в одну и как её издать.

Была она уже старой, на днях ей исполнилось восемьдесят лет. Позади — огромная часть её американской жизни, включая вращение в американский быт, — длиннейших и радостных десять лет, пока ждала, когда дадут американское гражданство. Но жила, наконец, свободной,

вырвавшейся будто из клетки, где держат несчастных, запуганных зверят, – из дальней и ненавистой России.

Позади – поздняя любовь и замужество на... замкнутом, странном, отстранённом от мира кусочке американской земли, о котором она и не слышала, пока её туда не позвали.

Последняя любовь Светланы Аллилуевой. Большая. Подлинная. Всепоглотившая.

Я смотрю на плохие снимки в её книге об американском этапе. Сколько времени, знаний, упорства было вложено в эту книгу, как продумывалась и пробивалась она, чтобы так сплеховать со снимками! Неприметные, будто сознательно уходящие от глаз, – это более точно, чем расплывчатые. Но какие-то серо-тёмные, серые.

Я пытаюсь дорисовать в уме портрет архитектора – её мужа, хоть на двух из них его можно рассмотреть. Прозаичные, с будничной одеждой Вэса (так звали её мужа), они далеки от текста с описанием первой встречи с ним.

«Я взглянула на его песочного цвета смокинг, на фиалковую рубашку с оборками, на массивную золотую цепочку с кулоном – золотая сова с сапфировыми глазами – и подумала: "О, Боже". Но его лицо было строгим и исполненным достоинства, глубокие линии прорезывали щёки – как у Авраама Линкольна. Он был спокоен и даже печален, выглядел лучше всех остальных...»¹

Я соглашаюсь с её определением «порядочный», ибо таким его воспринимаю. Намного старше её – почти под шестьдесят, в то время, как ей было сорок три, «высокий, темноволосый, молчаливый», он словно знаком мне по Москве. Словно бы я его встречал среди своих знакомых, – тип скромного, немногословного человека. Фаната в своей работе. Серьёзного и честного.

Но глава об их жизни название носит – «Западня»!

¹ Светлана Аллилуева, «Далёкая музыка», М., 1992, стр. 90.

Пером писателя проводит Светлана по чертежам этой странной, отъединённой земли – оазиса в Аризонской пустыне. Я вижу на ней, как живого, давно усопшего гения, которого звали архитектор Райт, – создателя не идущих в сравнение с известными уникальных церквей и дворцов.

Вот на этой земле дочь Сталина повстречала свою любовь. Её заманила в свои края, в покорившуюся ей обитель, вдова архитектора Райта – пожилая, суровая, властная женщина с русскими корнями, продумавшая задолго до этого её замужество с Вэсом – мужем её покойной дочери, у которого были громадные долги, а дочь Сталина, как писали, была невероятно богата.

Это была западня. Светлана пытается её постичь, и в ряде мест ей это удаётся. Рядом с её пером повесть Галины Джугашвили, которую я читал в те дни, – нечто искусственное, дутое. Проза Светланы американских лет – книга «Далёкая музыка» – смесь бытописания и путевых заметок с фрагментами биографий и местных историй, с уходом в её жизнь в России – сочна, насыщена, колоритна. Порой слишком насыщена, но из неё я постиг местный быт глубже, разностороннее, чем знал. Знания, наблюдательность, анализ, память – всё это у Светланы есть. Радость и горечь под её пером тут же передаются читателю. У неё есть мужество взглянуть на себя со стороны. Нравы, царящие на том отшибе, наглядны. Козни и происки, хитрость и жёсткость; и её, всё понявшей Светланы, распознавание, удивление, боль...

Она давно была носителем гигантской массы впечатлений. Пространственных и временных. Память её – от лет со Сталиным, Берией, всем Политбюро, жизни в Кремле в таком далёком прошлом, что для большинства людей сейчас всё это то же, что времена царизма, – сквозь исторические эпохи и пространства, смены режимов, крушения систем; с громадным и многолетним американским опытом, ближайшим знанием ряда стран, бес-

численным рядом встреч, – до впечатлений от вновь увиденной России, – всё это, даже взятое в отдельности, уникальная база для пера.

Далёкий от идеализации её как человека, я далёк и от ругани её, а точнее – от предвзятого подхода. Если хотя бы один автор, в работах которого есть что-то о Светлане, задался целью её понять, проследить её путь не в русле приклеенных к ней ярлыков, и не следовать самому в таком русле, он увидел бы, пусть и на фоне негатива, мучительные борения души...

«После первой книги семейных мемуаров, – читаем в «Далёкой музыке», – я писала теперь более политическую книгу о бегстве из СССР, чтобы показать моим критикам, что я была вполне осведомлена о том, что происходило в СССР в годы моего детства, знала о безжалостном режиме моего отца, и что я сама никогда не была среди его обожателей»¹.

Так постепенно, большим путём приходит она к писательству, ощутив себя как писателя после второй книги. Читая «Далёкую музыку», я ощущал боль от того, что ей восемьдесят первый год, что сами возможности уже не те. Мне, человеку с опытом учителя, но писателю по натуре до такой степени, что я рвался после занятий домой, чтобы писать, родными звучат её слова:

«...я не педагог, а вечный студент... С моим дипломом Московского университета и кандидатской степенью в русской литературе я могла бы стать педагогом много лет тому назад. Но мне никогда не хотелось этого, я мечтала писать».

«Это было нечто моё собственное, путь, который я могла теперь продолжать».

¹ Указанное сочинение, стр. 39.

— Галина Яковлевна, а почему вы поругались со Светланой? Или... она с вами? Вопрос неделикатный, и всё-таки. Из-за Сталина?

Она покачала головой: нет, мол, не из-за Сталина. Задумалась... Я не стал допытываться, надеясь к этому вернуться.

Господи, до чего же разные они, дочь и внучка. Предок-то один. Ближайший предок. Только вот дочь бывает объективна, внучка же — никогда. Правду Светлана пишет об отце, и это мучительно ей даётся. Но в этой двойственности, в этих мучениях — глубинное восприятие кошмара и жажда избавиться от него. Правда эта сильнее, чем чья бы то ни было — о Сталине. Негатив — из уст дочки!

— Я был поражён, читая её «Письма»¹, — в такт задумчивости Галины Яковлевны говорю негромко, не спеша, — тем, как даны его последние минуты. Его смерть и её ощущения, где наряду с теплом душевным, а оно проступает между строк, и это естественно: ведь дочка, — кричащий в устах её надлом, душевный прорыв через дочернее, преодоление себя, где первым её ощущением, когда на её глазах он умер, было... чувство освобождения!

— Пусть освобождается, — вздыхает Галина Яковлевна.

— А у меня не идут из памяти одни её слова. — И от того, что книги Светланы давно стали моими настольными, я привожу по памяти:

«Зимой 1952–1953 годов мрак сгустился до предела... Люди боялись говорить, всё затихло, как перед грозой.

И тогда умер мой отец. Молния ударила в самую вершину горы, и раскаты грома прокатились по всей земле, предвещая тёплые ливни и голубое, чистое небо... Всё так

¹ Светлана Аллилуева, «Двадцать писем к другу», М., 1990.

ждало этого чистого, безоблачного неба без нависших над головой свинцовых туч. Всем стало легче дышать, говорить, думать, ходить по улицам. В том числе – и мне»¹.

Галина Яковлевна расстроена:

– Было бы кого запоминать, – грустно говорит она. Мы помешали ложечками чай. Едим печенье.

Пользуясь тем, что молчанье затянулось, я всё же не ухожу от темы, чтобы понять разрыв их отношений на Пицунде.

– Мне хочется вас понять, Галина Яковлевна... Я видел о ней передачу из Лондона. По-моему, вполне нормальный человек. Она мне даже понравилась, если откровенно. На старости лет дочь Сталина – где-то на лондонских задворках. Но – спокойно, неторопливо, с достоинством – об общезнании, в котором жила.

– Ну, что вы хотите, она же не буйно помешанная. Пьём чай.

– Вы были в Грузии, Галина Яковлевна?

– Ну разумеется, не раз.

– Я помню, когда ехал в Гори (поезд из Тбилиси шёл несколько часов) на всех станциях, из всех окон – портреты и бюсты Сталина! Они были буквально везде: со стороны внешних стен, у входов и выходов из зданий... Я даже иногда вставал на цыпочки, чтобы заглянуть в окно, и видел их в кабинетах.

– Не помню такого...

– ?

– ...должно быть, потому, что ехала на машине.

И вдруг говорит:

– Грузины не очень чтут Сталина.

– Грузины?! – изумился я.

– Они будут произносить тосты, выкрикивать лестное в его честь, но... это не искренне. – Она показала на сердце и покачала головой.

¹ Светлана Аллилуева, «Только один год», М., 1990, стр. 135–136.

— А кто ж тогда искренен?

— Русские.

— Русские?!

— И один еврей. Был тут такой... Он мне говорил...

Но зазвонил телефон. Она отвлеклась, и мы не вернулись к этой теме. Я так и не узнал, что говорил один еврей о Сталине. Но русские и еврей, в данном случае – это одно и то же, и означает: не грузины.

— Есть лишь отдельные люди в Грузии из числа грузин, – закончила она, – кто собирает материалы о нём.

Например, директриса Музея в Гори.

— Так, может быть, ей помочь? – стараясь не выдавать злословия, заметил я. Но, видно, в глазах моих сверкнула усмешка. Она посмотрела долгим, пытливым взглядом, стараясь понять человека, который с ней говорит... Нервы её сдали – она вышла из комнаты.

А нужно бы помочь, – думал я. – Скажем, разложить по темам папки:

«Преступления Сталина (декабрь 1934–декабрь 1936 гг.);

«1937 год в жизни Сталина»;

«Сталин и «Ленинградское дело»;

«Сталин и «Дело врачей» и т. д.

Это ещё, так сказать, темы для кандидатских диссертаций. Кажется, их пока не предлагают аспирантам. А вот и готовые – для докторских:

«Сталин и его кровавая эпоха»;

«Сталин и государственные преступления».

«Придёт ещё время, – думал я. – По ним непременно будут диссертации...»

Мысли мои прервала Галина Яковлевна. Она тихо вошла, я не заметил.

— Хотите, я расскажу одну неясную историю, кото-

рая произошла со мной в Тбилиси? Я не совсем её понимаю до сих пор...

Я понял: ей хочется уйти от острых углов, хоть чем-нибудь смягчить их и не чувствовать. Я молча кивнул.

— Однажды на улице ко мне стал приставать незнакомый грузин. Я прогоняла, пыталась уходить, но он шёл за мной и приставал. Я позвала милиционера, и нас отвели в отделение. Там я сказала всё, как было. Майор записывал, я подписала, и... зачем-то нас повезли в другое отделение. Там снова допрос. И снова запись; в третье, где всё повторилось сначала. Причём, каждый раз меня спрашивали: «Он вам угрожал ножом?»

«Нет, — говорю, — не угрожал». Вот если бы угрожал — тогда тюрьма. А так... до пятнадцати суток. Странно это у них... Но главное — в другом. Каждый смотрел в мой паспорт и видел мою фамилию! Но... ни малейшей реакции. Допрос как допрос. И всё.

— Так, может быть, в Грузии это распространённая фамилия? Ну как у нас — «Иванов»?

— Нет, — покачав с улыбкой головой, тихо произнесла она.

Верно, больше нигде я не встречал такой фамилии. Никто её не встречал, не принадлежащей их роду. Сам Бог, вероятно, прежде, чем проклясть, сделал её принадлежность уникальной.

* * *

Я много думал потом над словами «Грузины не очень чтут Сталина», не понимая, не находя ответа, пока — опять-таки в книге Светланы! — не прочёл:

«Сталин... полюбил Россию и русских, потому что он любил силу, и хотел быть с сильными. Утончённая артистическая культура Грузии претила ему до конца его дней, а эмоциональные, рыцарственные грузины были совсем не в его духе. Ему нужны были сильные и цинич-

ные, чтобы выигрывать, а страна песен, танцев и вина производила совсем иной сорт людей»¹.

15

Но был ещё и дед по материнской линии. Она улыбалась, если я его вспоминал, тут было общее национальное начало, но никогда сама о нём не говорила. Ну, мог ли идти в сравнение со Сталиным купец второй гильдии по фарфору, с такими совсем уж «не проходимыми» данными, как Исаак Мельцер?

Вот уж и впрямь два деда-антипода – дед Исаак и дед Иосиф! Наверное, мудрый, но бесправный еврей, безвестный провинциальный торговец, и... ставший всесильным главой государства, прославленный «вождь и учитель».

— Вы были в Одессе, Галина Яковлевна? – спросил её я. – Родине деда Исаака?

— Нет, никогда, – отвечала она. И это казалось странным...

И Юлия Мельцер – любимая мама, ведь тоже была из Одессы. Где и когда она там танцевала, в Одесском ли оперном театре? А может быть, по контракту в какой-нибудь антрепризе?

Два рода и два замечательных края, две ярко-солнечных земли...

— Я-то в Одессе, Галина Яковлевна, – пытаюсь её разговорить, – два факультета университета кончал, она – моя юность и молодость. Я в ней в конце пятидесятых годов застал ещё **то** поколение, – ту, царских времён, интеллигенцию, тех бывших купцов...

Но – ни реакции с её стороны! Не буду сочинять и приписывать. Как и почему – не знаю.

¹ «Далёкая музыка», М, 1992, стр. 71.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава пятая

Пожалуй, он начался, новый этап писательской моей жизни. Контакт, на первый взгляд незначительный (что за герой – внучка Сталина!), незаметно как-то, исподволь начинал вести меня к новой книге.

Я подписал в печать очередной выпуск альманаха и теперь жадно, сутками, в «Ленинке» и дома буквально впитывал в себя источники: с одной стороны — книги Галины Джугашвили, с другой – дочери Сталина Светланы Аллилуевой.

Что я хотел в них понять? Зачем сравнивал их между собой? Для какой нужды стал заказывать, изучать всё, что есть в библиотеках о Сталине? Просто подряд: от «А» до «Я». От Авторханова до Яковлева. Что это: каприз души? Ухват писательской темы?

...И когда по знаниям, по накопленным материалам я бы мог защитить диссертацию «О различиях в восприятии Сталина в семьях его потомков», — лишь тогда, на столь позднем этапе я однажды вдруг осознал, что дело не в родственниках Сталина. Не в книгах о нём. Что они служат поводом для раздумий о жизни **моей**, о **моём** пути в течение десятилетий. Что это нужно, даже необходимо, прежде всего мне самому. Не как писателю. Как человеку из поколения, вся жизнь которого шла и идёт **под знаком Сталина**.

18

Под знаком Сталина.

Я вывел на письме эту строчку и... не сразу увидел, до чего это жуткие слова.

Как можно их при желании понять. Как они уязвимы.

...Я сижу в библиотеке Некрасова, у одной из старей-

ших сотрудниц — Анжелики Ивановны Гусян. После вечера о ГУЛАГе мы потрясены. И, волнуясь, она говорит:

— Почему в него не стреляли?

А действительно, почему? И мы это обсуждаем.

— Вам не кажется, — говорю, — что вопрос, даже сам по себе: «Почему в него не стреляли?», прозвучал из уст тех, кто в детстве любил петь о нём песни и учить с упоением стихи? Не праправнуков, не далёких потомков, — в языке **тех же самых** людей! Не встретивших с войны отца, потому что с криком «...За Сталина!» он бросился под фашистский танк. Приславших в свои девять лет клочок вскопанной в огороде земли в подарок к юбилею любимого вождя, потому что нам, крохам, было нечего больше послать. Это мы бросались из окон, когда умер наш вождь, потому что не было видно, как мы будем жить без него. Мы, любившие в классе седьмом читать наизусть прекрасные слова:

***Мы так вам верили, родной товарищ Сталин,
Как, может быть, не верили себе.***

И... прозвучавшее из этих же уст:

— Почему в него не стреляли?!

Потрясённые этим, мы молчим. Мы продумываем свой путь. Путь под знаком, а потом... проклинанием. Два громадных этапа. Первый длился тринадцать-пятнадцать лет детства. Может быть — ранней юности. Второй... длится и сейчас.

И то, и другое, — святость и меч, вера и крушение — образовали и пронесли вперёд всю нашу последующую жизнь...

...«Вот уж окна зажглись». Скоро полночь. Нам пора на метро. А мы всё сидим. Обсуждаем. Тревожимся. Словно можем сейчас повлиять на давно отошедшее в Историю.

На один прозревавший, но не сбывшийся факт. Пусть ценой чьей-то жизни сохранивший бы на Земле миллионы загинутых на пути к лучшим идеалам...

И, волнуясь, она говорит:

— Почему в него не стреляли?

19

...Была уже ночь, когда я приехал к Шерешевскому. Накануне он мне сказал, что покажет что-то такое, чего в таком виде нет у нас.

...И вот мы пьём чай, и я вижу польский журнал со странным названием «Karta». А вот и его статья... на польском языке, для поляков. Я поднимаю на него глаза:

— О чём?

— Да вот, прислали... О Мёртвой дороге.

— Как – о мёртвой?

— Там, где сейчас БАМ, строилась дорога, обнимая Восточную Сибирь... Строили заключённые, но со смертью Сталина адский труд прекратили. Рельсы стали ржаветь, всё забросили, на громадном пространстве был пустырь... И стали называть её «Мёртвой», дьявольскую эту дорогу. Как раз в тех краях я сидел.

— И Польша заказала вам эту статью?

Я взял журнал и стал рассматривать снимки... Внимание привлёк один из них. Это был снимок отчётного документа, который прислали Сталину. С его резолюцией.

— Вот из-за этого я вас и позвал, – с хитринкой заметил хозяин.

Я приблизил очки. Это был чёткий снимок. Единственный в номере польского журнала документ на русском, из раскрытого архива в Москве. На докладной записке Сталину о первом построенном лагере для политзаключённых в Сибири – рукой вождя, наискось – шла надпись:

Таких лагерей предстоит много.
И. Сталин.

20

...В последнем поезде, куда я пересел около часа ночи, я был один, и под стук колёс мучительно вспоминал те годы... Я думал о том, что если когда-нибудь напишу книгу о сталинщине, писаться она будет легко, на одном дыхании, и я смогу уложиться в предельно короткий срок. Под мерный стук, в неясном полусне я даже слышал: «Двадцать дней...» Но, вскидываясь в любую минуту, как это бывает при дремоте в метро, я ясно осознавал, что за книгой будет стоять вся прожитая жизнь...

Ни одно поколение не было так ослеплено именем и культом Сталина, как моё, – поколение сорокового и начала сороковых годов.

Когда Солженицын пишет, что понимал, – тогда, в тридцать четвёртом, – что Кирова убил Сталин; что инженеры по природе своей не вредители, а созидатели, и потому все дела против них есть изначально «липа», то извините, в тридцать четвёртом ему уже было шестнадцать лет. Его ранний рост в первых классах школы шёл без Сталина как вождя, то есть **вне** атмосферы культа. И сам культ, начавшись, по существу, с 1929 года, мог восприниматься им как нелепое, чужеродное.

Когда Шерешевский пишет в «Музе», как с Коржавиным они ощущали разницу между пропагандой и тем, что творилось вокруг них, то родились они всё-таки в двадцать шестом году. Умным, думающим, рано взрослевшим, в тридцать восьмом им – двенадцать лет.

А теперь возьмите меня – сорокового года рождения. Явившегося на свет в атмосфере сладчайшего культа, когда самое это **сладчайшее** впитано с молоком матери, и поскольку иного мы не знали, было естественным и нормальным. Как единственно возможная жизнь.

Мне был год и два месяца, когда началась война. И, едва встав на ножки в этой дикой эвакуации, я воспринимал слова «Сталин родной», «Слава Сталину!», «Выпьем за Сталина» буквально наряду со словом «мама». А так как о маме никто не говорил, что она великая, не бросались с таким словом под танки, любовь к Сталину, – смею заверить! – всасывалась в кровь чуть быстрее.

В самом первом воспоминании, что относится к сорок третьему или сорок четвёртому году, мама везёт меня на санках по застывшему в три ледовых слоя озеру, а в пути к нему – яркие, пусть и серого цвета, транспаранты (если можно их так назвать) и плакаты – в окнах военкомата и других. Годом позже, осваивая буквы, я прочитывал их по слогам, даже по согласным частям слов: «Там, где Ста-лин, – там по-бе-да!», «Да зд-рав-ст-ву-ет ге-ни-аль-ный во-ж-дь...»

Я не знал ничего иного. Только это.

21

Мне было лет семь, а может быть, восемь, – год, видимо, сорок восьмой, когда по случаю дня рождения родители пригласили гостей. Но из-за грянувших арестов вечер был отменён. Узнал я об этом спустя много лет. Но тогда... в шёпоте тех, кто успел прийти и стоял растерянно в дверях, подавленный происходящим, среди пауз и умолчания, тяжело повисших в тиши, я услышал вдруг таинственную фразу – ту, что меня насторожит.

Господи, как же это было?.. Мама подошла вплотную к сказавшему что-то мужчине, в страхе смотрела на него застывшим взглядом и тихо, казалось, одними губами произнесла:

— Возвращается тридцать седьмой.

Это прозвучало не то утвердительно, не то в виде вопроса. Он не ответил. Была жуткая тишина. Я поглядел на гостей, на маму. В страхе прижавшись к ней, я спросил:

— Мама, кто это... тридцать седьмой?

Она вздрогнула, пожалела, что меня не уложили спать. Растерялась, молчала, но нашла:

— Это в папиной воинской части часовой.

Я сильнее прижался к маме:

— Он... плохой?

— Почему ты так думаешь?.. Боже, ты болен, тебя бьёт озноб.

Я дрожал, хотя был здоров. Странно: интуитивно, ничего не понимая, чувствовал не собственный страх, а то, что им охвачены взрослые.

Все разошлись. Меня уложили, но я долго не засыпал, думая об этом человеке.

Станный образ этого часового – человека злобно-го и жестокого, чей приход вызывал тревогу взрослых и о ком они почему-то произносили шёпотом слова, я держал в ранней памяти ещё несколько лет... А потом о нём позабыл. И вновь вспомнил юношей спустя восемь лет, когда о нём заговорил Хрущёв.

...Мама поздно вернулась с партсобрания, необычного, чем была потрясена. И сказала папе, не таясь уже от меня:

— Что-то жуткое... Трудно сразу... Помнишь тридцать седьмой?

Я вздрогнул, как если бы не прошло столько лет. Мать замялась.

— Ничего, – сказал папа. – Говори при нём. Через несколько дней он услышит на закрытом комсомольском собрании.

Вряд ли я понимал, что был начат совершенно иной этап жизни.

Глава шестая

22

С той поры прошло полстолетия. Я близко общаюсь с внучкой Сталина, бываю у неё дома и часто думаю о ней...

Надо сказать, что постепенно, в течение всех визитов к ней и в разговорах по телефону между ними, порой острых с моей стороны, принципиальных, всё больше она уходила от тяжёлой для неё темы Сталина. То есть главного, ради чего затеял я наше знакомство. Разумеется, такая беседа была ей неприятна. Она понимала: речь пойдёт о ГУЛАГе. Значит, о преступлениях её любимого дедушки; что, говоря с ней о Сталине, тему эту не обойти.

— Как вам видится наша беседа? — спросила она меня по телефону.

— Как политическая, — ответил я нарочито напористым тоном.

— Политическая? — переспросила она. И в голосе прозвучало удивление.

— И нравственная. Моральная.

Она молчала. Она умела скрыть свои чувства.

— Беседа должна быть острой, — сказал я ей в другой раз.

— Конечно, — согласилась она. — Иначе читать не интересно.

Но раз за разом, по капле, по минуте гасла на глазах главная возможность — беседа о Сталине с его внучкой, где я был бы прокурором, а на плечи её легла бы труднейшая защита.

23

...Я вошёл к ней на этот раз и... отпрянул (хотя, к счастью, она этого не заметила), — таким страдающим,

потрясённым было её лицо. Осторожно, чтоб не задеть её самолюбия, присматриваюсь. Ба! Да оно заплакано! И состояние – как после ссоры.

В дверях – сын Галины Яковлевны. Хочу его рассмотреть, но... успеваю лишь уловить общее со Сталиным. Причём, Сталиным молодым. Пролетарским революционером.

– Правнук Сталина, – замечаю я. – Кажется, он похож на прадеда.

– Если без бороды и усов.

Но, видя, что я смотрю, он прикрывает дверь.

– У вас один сын?

– Это во-от так! – проводит она рукой вдоль шеи.

Разговорились. Сыну тридцать три года. А новой его жене – двадцать восемь. С той, прежней, он расстался. Уже семь лет, но она по-прежнему звонит, угрожает...

– Я не понимаю, что ей нужно, – говорит Галина Яковлевна. – Сегодня я ей сказала, что если это будет продолжаться, мы подадим в суд.

А мне это всё так странно... Обыденно для потомков Сталина. Как если бы мне в моей наивности (откуда только она взялась?) казалось, что раз уже я в семье потомков легендарной личности, – пусть жуткой в своём палачестве, но легендарной, – то ежечасно тут ощущается... некий мемориальный музей, что-то уж очень памятное в связи с историческим именем. А тут...

– Я бы хотел вернуться к вашей маме, – цепляюсь я за тему семьи. – Сталин был против брака ваших родителей? То есть женитьбы сына Якова на балерине Мельцер?

– Он навёл справки, узнал о ней плохое и был против.

– Сталин навёл справки... – я тяжело вздохнул. («Что же такого он узнал?» – хотел я спросить. Но сдержался. Впрочем, я знал, что до сына Сталина балерина была дважды замужем, и в момент их знакомства жила со вторым мужем. Но и Яков тогда был женат).

— Сын его не послушался?

— Да, и дед был рассержен!

— Ну, у Сталина это надолго, — невольно произношу я. И... замолкаю. Внучка хмурится. И говорит не мне, а тихо так — в пространство:

— Во всём, во всём готовы видеть...

— Встречалась она потом со свёкром — Сталиным?

— После того, как папа на ней женился, они пригласили его.

— И он пришёл?! — изумляюсь я, зная, что он был против. Что крайне редко ходил к родичам. И что не встретился с мужем дочери, так как Морозов еврей.

— Да, он умел себя держать... Она волновалась, как пройдёт встреча.

— И как?

— Знаете, хорошо. Сталин был весел, пил с ними вино, шутил... Даже кормил маму с вилки: мама понравилась ему. Он поднимал тосты в её честь...

— ...чтобы спустя несколько лет отправить её в ГУЛАГ, — срываюсь, не выдержав, я.

— Просто, когда за ней пришли, он за неё не заступился.

— Кормил с вилки, а заступаться не стал!

Внучка молчит, вздыхает...

— Что было с ней после ГУЛАГа?

Она внимательно смотрит на меня... «Сказать или нет?» — в её глазах.

— Вы тонко почувствовали, как ГУЛАГ сказался на моей маме. Мне было лет шесть, и не случайно её возвращение скрывали от меня. Я вряд ли понимала, где кто тогда жил, но явно она жила отдельно, и долго... ой, уж как долго не видела я её.

— А кто вас воспитывал? Шла война, а отец попал в плен, когда вы были ребёнком.

— Он не был в плену! Но об этом потом, — сказала она, уловив моё удивление. — Не знаю уж, если это воспи-

тание... Ко мне приставили тётю Светлану – злую, мрачную, шестнадцати лет. Мне было с ней очень неуютно, и она была со мной строгой.

— Что значит «приставили»? Кто так распорядился?

— Дедушка.

— Сталин? А вам доводилось с ним встречаться?

— Спустя много лет... Один раз.

— Ой, как интересно! Расскажите.

— Он как-то пришёл к нам вечером. Не помню уж, по какому поводу. Я бросилась в прихожую и... застыла от удивления. Поверите, ничего общего с портретами. Лицо старческое, в оспинах. Не похож! Он раздевался в коридоре, и я засмотрелась на его «золотую» шинель. Шинель генералиссимуса. И... то ли ему сказали, что я его внука, то ли узнал меня по снимкам, а только спросил меня, как я учусь и кем хочу стать? Я громко ответила:

— Моряком!

Он удивился:

— Дёвочка – моряком?! – и прошёл в комнату, где уже накрыли к столу.

За столом он вернулся к этой теме:

— Как-то... нэ так... Дёвушка – моряком?!

Потом они говорили о другом, и многого я не запомнила... А когда уходил, я снова увидела в коридоре его «золотую» шинель. Он одевал её как-то тяжело.

— Какой это год был?

— Пятьдесят второй. Ему оставалось жить месяцы...

Она задумалась... Мы молчали. И, хоть она всячески это обходила, я думал о том, была ли на этой встрече её мама?

24

«Злая, мрачная» тётя Светлана слишком нехотя вспоминала те дни. Ей свойственно было слышать свою, далёкую музыку, быть резко отличной от других и внутренне не соглашаться с режимом ещё с тех лет, когда дочь Ста-

лина не думал охаивать никто. Это была дочь Сталина – и этим сказано всё. Она же была кричаще одинокой в упрямом своём несогласительстве. В сокрытом ото всех и вся глубинном внутреннем протесте.

Но кто это знал? Отец? Его спустя годы лишь стала раздражать её независимость решений, порой противостоящих ему. Кто мог догадаться, шагая в колоннах, неся славословие её отцу, что она... презирала идущих в колоннах, как не видящих, не понимающих, не способных мечтать! Ей одной, или так ей казалось, светил в мрачном тоннеле собственный маленький фонарик...

А когда после мрака тоннеля высветил впереди Двадцатый съезд, облик создателя пыточной дороги стала покрывать угольная краска. Исчезли небесные лучезарные тона, и с их исчезновением облик дочки стал никому не интересен, о ней постепенно стали забывать. Она просто ушла из поля зрения.

Это... радовало её! Она жила, как хотела. А хотела – не на виду. Теперь и ранее – помпа была ей не нужна. Её мечта и идеальное состояние – затеряться среди других. Но не других в Кремле, а среди простых людей, и жить такой же, как у них, нормальной жизнью. Это – первое её стремление, и оно довлело надо всем.

Господи, что мы знаем о Светлане? По книгам авторов реплик о ней, порой её книг не читавших? По дням её возвращения на родину, – бурным, ожесточённым фразам и поступкам, когда всё вокруг неё было напряжено до предела? Ругая и походя отпуская меленькие насмешки в её адрес, можно двигаться в заданном пространстве, но постичь её образ нельзя.

25

Чего, собственно, я её защищаю, когда у всех, писавших о ней, подход тяжёлый, критический?

Представьте детей «простого» палача, готовящего топор для рубки головы, выбивающего из-под ног жерт-

вы табуретку. Им невыносимо даже само родство. Они провалились бы сквозь землю, если бы могли, – такая гигантская в их душах боль, такой невыразимый стыд... Да никому и не скажешь, что ты дочь или сын палача. Но это – палача «единичного». Казнившего за свою жизнь сотню-другую жертв.

На совести папы Светланы, если бы совесть была, – миллионы и миллионы жертв. Как правило, не виновных в том, в чём их обвиняли. Он весь, её папа, в крови. Чудовищно попорана жизнь, рушимая её отцом... Да тут ещё странно, что она всё-таки с сохранённой психикой. Что у неё хорошее образование и вообще есть своя жизнь. Нервная система дочки поражена буквально на корню. Всё изначально болевое. Всё внутри жжёт, кипит...

А вы говорите, ведёт себя странно. А вы говорите – скандалит.

Светлана пошла на разрыв со своим прошлым, и, что бы она об этом ни писала, – на отстранённость от отца, который её всё-таки любил и которого она всё-таки любила, пусть он и был государственным злодеем. Шаг сильной натуры (хотя она себя такой не считала).

Внутри адского, если вдуматься, пламени – всё-таки сильный шаг.

Несчастливая в личной жизни, одинокая и пришедшая к одинокой старости, «злая, мрачная» тётя Светлана слишком нехотя вспоминала те дни...

26

– Много сказано и написано, – сказал я, – о том, что Сталин не интересовался детьми и внуками. Внуков вообще не видел и не принимал...

– Как это не интересовался?! – вспыхнула Галина Яковлевна. – У нас была прекрасная двухкомнатная квартира с мебелью. Мы ни в чём не нуждались. А когда

стала ожидаться я, Сталин дал четырёхкомнатную, где и жили вплоть до войны.

...Они жили, как на разных планетах, – Светлана Сталина и Галина Джугашвили. Откровенно советская девочка или лучше сказать – согласная с праведным режимом внука величайшего дедушки в Кремле, которого видит только на портретах и гордится им, и вместе с народом поёт о нём песни, – Галя, и строгая тётя, не всегда ей понятная и живущая отстранённой жизнью.

Галя невзлюбила Светлану. Но не там, на Пицунде, когда ей, племяннице, было сорок семь и под шестьдесят – Светлане, когда так давно они жили врозь и Галя ни от кого не зависела, а в «святое», далёкое время своего всевластного дедушки.

Они были разными – Галя и Светлана. Но в разных и вроде бы несхожих образах прослеживается, однако, и общее.

Обе – замкнутые. Но Галина – в силу отсутствия отца, которого ей не доставало, в силу странного и неясного надзора, а Светлана, у которой отец на вершине возможной славы, – от раздвоенности дочернего чувства и трагичного в своей сути неприятия. В ней куда больше, чем во внучке, текла его кровь, она даже в старости, в 2009-м, будет безумно похожа на отца.

Да и замкнутость их обеих давала разные плоды. Внучке как раз хотелось быть... более развязной, что ли, если можно слово «развязный» понимать в положительном значении. Не стеснительной, не стеснённой узами воспитания, характера. Просто более живой, общительной. В затаённой, но так и не сбывшейся, глубоко личной мечте оставалось всегда желание разорвать эти узы замкнутости и уйти, выйти из неё...

У Светланы – наоборот. В самих её генах был развит протест против необходимости быть на виду, она ненавидела, будучи в США, за это американскую прессу. С детства уставшая от грома славы своего «величай-

шего» отца, она хотела для себя покоя и будничных, как у всех, отношений с соседями и друзьями. В Америке, наконец, это было достигнуто, и она жила под именем Ланы Питерс, чтоб никто из соседей не знал, что она – дочь Сталина.

И в невероятной от неё дали жила племянница Галя – одна из тех, а было их ой как много, с которыми она прервала отношения.

27

Мы несколько раз ещё встречались до того, как провели беседу, то есть официальный, рассчитанный для печати материал. Я вдумчиво, с большим интересом всматривался в Галину Яковлевну. Всего на два года старше меня, с половиной родной моей крови, она навевала множество раздумий. «В сложное время после войны, – писал я в своём дневнике, – я с ней мог учиться в одном классе». Как же так, скажет читатель, всё-таки разница в два года. Это, если смотреть сейчас. А в сорок седьмом, когда в первом классе, куда меня привели, за низкие парты в три ряда село... 42 вчерашних детсадовца, разница в возрасте у нас и была именно в один-два года.

Нет! – вспомнил я. – Школы были отдельными, то есть женские и мужские отдельно. У нас – в низком, махоньком одноэтажном домике, стоявшем в углу двора, – шум, драки, хулиганье; у них, в школах женских – святая тишина, платья белые, даже тогда по возможности красивые (позже девочки даже ходили в школьной форме). И вообще... я вроде как примеряю внучку Сталина к себе, а жили мы тогда в разных городах.

– Я знаю о вас, Галина Яковлевна, из вашей книжки о семье. В ней множество никому не известных деталей, но нет вывода. Как вспоминаете вы сейчас своё детство, как ощущаете свою жизнь сейчас?

– В детстве в ней было два периода...

– До и после пятьдесят третьего? – догадался я.

Правда, тут же поправился. – Ох, простите меня... До и после пятидесяти шестого?

– Нет, – невозмутимо ответила она, как всегда «не замечая» такое. – До и после пятидесяти второго.

– А это ещё что, Галина Яковлевна?

– ...два периода. Счастливый – до 1952 года, пока училась в обычной школе. И... очень какой-то неуютный – после, когда меня перевели в художественную школу, где чувствовала себя не в своей тарелке: там было сложно учиться... И я перестала быть счастливой.

Меня тянуло не к живописи, а к книгам. После школы я поступила на филфак МГУ, на романо-германское отделение. Мечтала быть переводчиком и переводила алжирскую франкоязычную литературу. А стала переводить – меня стали печатать.

Много лет потом проработала в Институте мировой литературы, где защитила диссертацию. А спустя годы литературная критика уже не удовлетворяла меня, и я стала пробовать себя в литературе. Вышло несколько моих книг. После первой – о семье в годы моего детства – была принята в Союз писателей...

...Ей вдруг позвонили, и в задумчивости я постоял у окна. В двух шагах от нас, в двух улицах – Кремль. Стоит только пройти до угла, и видны его острые башни...

Глава седьмая

28

О, эти встречи с Джугашвили! Всякий раз они уводили меня в ту – уже дальнюю – эпоху первых послевоенных лет. К киножурналам, радио, газетам, которые я уже умел читать. Ко всей атмосфере культа.

Я вспомнил прошедшую через годы детства историю письма вождю. Писала его моя бабушка, но обсуждали все, то есть мама моя, мама папы, его сестра и... со-

седи. Все – искренне переживая за бабушку и волнуясь, поскольку пишут вождю.

История письма такова.

Папа звал нас к себе из Болгарии, где закончил войну. В самом деле, не виделись четыре года! Стали собираться. А тут... Указ Сталина: нельзя всей семьёй! У вождя были основания бояться, что если уедет вся семья, там она и останется после всех репрессий. Кто-то должен остаться как залог. (Понятно, такого слова не было в Указе).

Кто? Конечно же, бабушка. Молодым восстанавливать семью, а бабушка гарант, что дети вернутся.

И бабушка пишет Сталину:

Дорогой наш, родной Иосиф Виссарионович! Я – такая-то. У меня было двое детей, сын и дочь (моя мама – В. Л.). Сын погиб. Дочь с внуком едет к мужу в Софию. Она подвиг свершала в сорок первом году: под бомбёжками и обстрелом – санинспектор Кременчуга!

Я остаюсь одна в огромной стране. Знаю, что есть Закон, что есть Ваш Указ, – всё знаю. Но прошу сделать исключение: выпустить меня к семье для временного проживания в Софии. Честью своей клянусь, что все мы вернёмся. Даже в мыслях у нас иного нет...

Помню, когда она писала, старик-сосед, еврей из Могилёва, склонился над ней и прошептал: «Эпитеты нужны. Хвали побольше». Я тут же «схватил» новое для меня слово и несколько раз его, чтоб запомнить, одними губами повторил.

Много таких эпитетов было в её письме. Сталин был в нём великим вождём, величайшим учителем всех времён и народов, стратегом и гениальным человеком. Поэтому, когда был получен ответ (конечно, не от Сталина, тот таких писем не читал, – просто из канцелярии Кремля), тон его в устах всех знавших звучал... разве что без эпитетов по отношению к бабушке, но с таким же вниманием. Такой же лаской. В радужных пе-

рассказах звучал этот ответ. Я слышал его не раз в такой редакции:

Дорогая Берта Наумовна! Мы в Кремле получили ваше письмо и в Кремле его обсудили. О, как мы вас понимаем! Мы вас глубоко уважаем, но закон есть закон.

Никому не дано нарушить мудрый сталинский Указ. Так что, мол, и для вас исключения сделать не можем. Сожалею об этом. Но вы здесь не одна под опекой великого вождя...

...Я рос, и жила во мне эта легенда вдвое больше, чем в пушкинской сказке: шестьдесят и шесть лет... А на днях, роюсь в старых бумагах, обнаружил я этот ответ. И... чуть на пол не упал от удивления: ничего такого и близко в казённой писульке не было! Буквально строка или две без обращения, лишь адрес с фамилией в правом верхнем углу:

«На Ваше письмо. Вам отказано при рассмотрении.

Основание: (номер Указа).

Зам. Начальника канцелярии Совмина

(подпись)».

Я был поражён. Что же было с людьми? Для чего была их легенда?

Молодым этого не понять. Это – как обнаруженный мной недавно эпос: «Золотой души человек. Бурятская легенда о Сталине». (Таких книг было много. Удмуртских, башкирских, адыгейских). Тиран убивает миллионы людей, депортирует целые народы, а в сердцах их жива добрая легенда. Так им теплее.

29

Меж тем, готовился номер «Музы». У нас не было для него «ударного» материала, который бы привлёк внимание и был читаем и интересен всем. Нужна была «бомба». В хорошем смысле сенсация. А внучка Сталина, позвонив, сказала, что говорить о дедушке не будет.

Однако беседа состоится, – подвела она трудный итог всему предыдущему этапу, – если мы будем говорить лишь об её отце. О Якове Джугашвили.

– Упомянуть Сталина нам не избежать, – заметил я.

– Зачем его избегать! Во мне его кровь. – («Чёрная кровь!» – чуть не сказал я вслух. О, как ей не хотелось говорить о массовом терроре, о преступлениях своего кровавого деда!)

Я задумался... А почему бы и нет? Сама по себе это значительная тема, и будет говорить дочь Якова Джугашвили! А от беседы о Сталине она всё равно уйдёт.

Я дал согласие.

30

«А может быть, надо было с ней резко говорить?» – мучительно думал я, когда повесил трубку. Чёрт бы уже с беседой, – резкий разговор значил бы конец отношений. Но я бы... Да, я бы выложил ей, что видел, что испытал в годы её деда.

...И в памяти встал во всей своей жути один только день пятьдесят второго.

Один только день.

Мы жили в квартале от главной улицы в Херсоне, она называлась Суворовской. Ходьбы до неё минут семь. Но, облазив соседние здания, я нашёл проходной двор – сложный, путанный путь, но «таинственный», потайное влечёт мальчишек. Я входил в деревянный, затхлый коридор, поднимался крученным ходом на убогий второй этаж, шёл по грязной веранде мимо низких окон, сквозь которые были видны теснота и бедность квартир; вновь спускался во двор с бельевыми верёвками – атрибутом южных провинциальных городов, и теперь только – после всего – выходил через него на Суворовскую.

Так я сделал в тот день. Пролез, нагло глядя в чужие окна и рассматривая сцены ссор. И вдруг...

Нет, я знал уже, что из этого двора, как и из других, исчезают люди. Видел офицеров в неармейской форме, о которых боялись говорить, и которые входили в дом одни, а уходили с кем то третьим.

Но сейчас...

Я, кажется, знал эту семью. Или так мне казалось, так много раз наблюдал её через окно: муж, жена и малыш – красавчик лет пяти.

Сейчас за окном была не просто тишина. Мне почему-то стало жутко при виде этой кричащей пустоты ещё до того, как я увидел, не сразу разглядев и не поняв, что вижу... труп этого малыша в необычной позе. Он, видно, побежал за мамой, которую уводили офицеры, и один из них сбил его сапогом в лицо. Малыш стукнулся головой о стенку, лицо было размозжено, и умер. А хлынувшая и застывшая кровь прилепила голову к стене.

Окно было раскрыто, двери тоже. Шкатулки выдвинуты, вещи разбросаны... По сквозняку летали письма и конверты, вообще множество бумаг, найденных и отброшенных при обыске.

Я снова переводил взгляд на мёртвую голову ребёнка, не в силах сдвинуться, идти дальше... Это была, как я помнил, простая семья. Простые люди. Их интересы вращались вокруг бытовых забот, цен на рынке, и уж никак они не были похожи на иранских или английских шпионов; ничто, ровно ничто не говорило, что это враги народа.

Я почувствовал страшную слабость, тошноту, природу которых понял спустя четырнадцать лет, когда преподаватель судебной медицины на юридическом факультете ОГУ привёл нас перед зачётом в морг, проводя вдоль обнажённых трупов.

Ещё только раз было то же ощущение. Спустя пятьдесят пять лет. Во время гипертонического криза.

Не помню, как я спустился по крученным коридорам во двор. Не помню, как вышел на Суворовскую.

Был канун Первомая, и вокруг радостно предвкушалась демонстрация. По Суворовской – квартал или два – тянулись счастливые колонны со знамёнами и огромными портретами Берии, Маленкова, Суслова... А над ними – на большой высоте, прикреплённый незримыми канатами, парил тот, кто нёс счастье в каждый дом, в каждую семью.

«Генеральная репетиция», – шепнули за моей спиной. Ряд идущих впереди колонны студентов вдохновенно и радостно запел:

*На просторах Родины чудесной,
Закаляясь в битвах и труде,
Мы сложили радостную песню
О великом друге и вожде.*

И на крыльях всеобщего счастья громогласно грянул припев:

*Сталин – наша слава боевая,
Сталин – нашей юности полёт.
С песнями, борясь и побеждая,
Наш народ за Сталиным идёт.*

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава восьмая

31

К нам в издательство пришла поэтесса из моей литературной студии. «Наталья Саянова» будет значиться на обложке книги, которую мы ей издадим. И вот сидим с Натальей Васильевной, обсуждаем, какой ей хочется видеть книгу, каким тиражом её издать.

— Можно тысячу, — говорю. — Но можно и пятьсот.

— Какая тысяча! Какие пятьсот! Господь с вами! — она эмоциональна, взволнована.

— А сколько по-вашему? В мизерном тираже не заинтересована ни одна типография. Вы же не назовёте... пятьдесят?

— Какие пятьдесят! — Наталья Васильевна даже подскочила на стуле. — Бог с вами, Валерий Ефимович. Это же страшно много.

Я чуть не упал.

— Меньше пятидесяти?! Зачем вы пришли?

— Конечно, меньше, — она стала вдруг тихой, спокойной. — Конечно.

— Зачем вы пришли, Наталья Васильевна? — повторил я в изнеможении. — Что вы от меня хотите? Или вам нужно десять экземпляров? Сделайте их на ротاپринте.

— Что вы нервничаете, Валерий Ефимович. Десять экземпляров — это много.

— Вы сошли с ума, но я в этом не виноват. Сколько вам нужно?

— Один.

— Для себя? Так купите альбом или сшейте листочки, — сказал я смеясь и... запнулся, такую боль, такую подавленность, такое глубокое мучение увидел вдруг на её лице. В глазах её были слёзы.

— Не надо так, — произнесла она шёпотом. — Прошу вас.

— Что с вами, Наталья Васильевна? — сказал я учтиво.

— Мне нужен один экземпляр... не для себя.

— А для кого же?

— Для того, кого я люблю всю жизнь. И буду всегда любить.

Так я узнал в тот вечер её уникальную историю. Историю безответной любви.

...Она его обучала взрослой девушкой. А ему было... девять лет. Он подрастал, и лет семь или восемь она продолжала с ним заниматься английским языком. Так, видно, хотели его родители. А когда он стал парнем, она... влюбилась в него! И эту любовь пронесла через всю жизнь.

Когда он понял, что она его любит, ему было уже семнадцать лет. Он потянулся к своим сверстницам. Она была ему не нужна.

Она не преследовала. Она страдала. И оставалась со своей болью одна.

Он вырос, женился, у него были дети, — она продолжала его любить. Нередко вставала на рассвете, чтоб только увидеть его, когда он рано утром будет идти на работу. Стояла на перекрёстке. Ждала под дождём. Снегом. Под ледяными ветрами...

Ему была непонятна такая её любовь. Мальчонком как ученик он был привязан к ней, но сейчас... Он отворачивался на перекрёстках. Он обходил её.

Она вышла замуж, но... продолжала любить только его. Протягивала при встрече стихи, которые посвящала ему. Он иногда их брал с недоумением. Глядел, а потом выбрасывал.

Она это знала.

Шли десятилетия... Даже он состарился. А про неё что же говорить. Он уехал с семьёй в Америку. Для жиз-

ни в ней его перспективы были лучше, чем у других: благодаря ей он прилично владел английским языком. Но он жил теперь в Штатах, и она перестала его видеть.

Но, всю жизнь посвящая ему стихи и предчувствуя, очевидно, свой близкий конец, она пришла ко мне, чтобы издать... единственный экземпляр книги этих стихов, который она пошлёт ему в Америку.

Мы долго молчали.

— Мы сделаем вам пятьдесят экземпляров, — сказал я ей тихо. — Вы сможете их дарить друзьям, они прочтут о вашей огромной и неутешной любви.

— Пятьдесят так пятьдесят, — она тяжело вздохнула. И, захлебываясь слезами, утёрла их.

Помолчала. И, глядя в глаза мне, сказала шёпотом:

— Но это же... сокровенное. М о ё . Я остальные экземпляры просто спрячу.

Она не дожидаясь выхода книги. У неё обнаружили рак крови, и в мучениях она умерла.

Я считал своим долгом отдать тираж её близким. Их было двое: муж и двоюродная, довольно ей дальняя сестра. Муж был равнодушен к этой истории. Он знал её, жена не скрывала, но так как практически это никогда не угрожало их браку, смотрел сквозь пальцы, жену любил, считая это её причудой. Но уж, конечно, такая книга была ему не нужна.

Помню, в сильный мороз я повёз тираж её дальней родственнице. Мы посидели за столом, помянули Наталью Васильевну...

...В знак памяти о ней, она послала один экземпляр по добытому ею адресу в Америку.

Я позвонил ей через месяц:

— Он получил книгу?

— Мы точно знаем, — сказала она. — Получил. Я написала ему о её смерти и приложила письмо.

— Как он отреагировал?

— Мы не знаем.

А ещё через месяц я включил в выходящий номер «Музы» несколько страниц стихов Натальи Васильевны, посвященных её пожизненной безответной любви.

32

Прости меня, читатель, за это отступление. И дело, конечно, не в любви. А в том, что пока читал книгу Галины Джугашвили, – главную книгу её жизни, с которой знакомила она меня в день нашего знакомства, – в ушах стоял голос Натальи Васильевны: «Я буду рада, если как можно меньше людей узнает об этой книге. Я остальные экземпляры просто спрячу. Какое кому до них дело! Ведь это такое м о ё ...»

Так или не так думала Галина Джугашвили, но у меня ощущение было таково. Разница в том, что Саянова держала бы тираж у себя, а Джугашвили... «заперла» его в одной из библиотек. Крупнейших в мире. Может быть, в нескольких ещё.

Наверно, она удивилась бы, если б прочла такое. Сказала бы мне: «Разве книга в спецхране? Она в открытом доступе, и есть в каталогах».

Сознательно ли, подсознательно она зашифровала её, назвав... для себя одной. Чтоб только она понимала, что это и о чём. Не афишировала, не вспоминала лишний раз и лишним людям. Наткнутся так наткнутся. Прочтут так прочтут. Близкое и родное **ей**, чужим не нужно.

Книга называется «Дед, отец, ма и другие», где Дед – нежный, розовый безвиновник Иосиф Сталин, человек с юмором, заботливый и незлобивый. А Ма – тихая, безызвестная, трижды бывшая замужем еврейка из Одессы. Правда, последний, третий раз была она женой сына Сталина, от чего и произошла Галина Джугашвили. А «другие» – это Светлана – «суровая девица шестнадцати лет», взявшая шефство над племянницей Галей, когда добрый, с юмором, Дед упрятал маму Гали в тюрьму. И ещё кумушки: прислуга, портнихи, сторожа... Действие драмы (или

водевиля?) – с конца тридцатых по начало пятидесятих годов, когда Дед с его доброй душой ушёл делать добро в иной мир.

Да простит меня Галина Яковлевна, – ко всему её уже нет на свете, и была она добрым, прекрасным человеком, – но отдельные места её книги вызвали у меня протест:

«...в характере Деда и в самом деле было забавное (!) смешение изумительной трудоспособности Катерины (его матери – В. Л.) со всегдашней готовностью Виссариона Ивановича видеть в жизни смешную сторону, – желание, пожалуй, даже более сильное, чем сознание долга»¹.

Ты посмотри, как интересно! Уж сколько всего читал о Сталине, а такого ещё не встретил. Это как же он так умел смеяться... в 1937 году? Может, было над чем?

Сколько жуткого в этих словах, дорогая Галина Яковлевна! Как читать их тому, кто познал на себе ваше «забавное смешение»! И чего стоит тон, которым это сказано, – нежный, ласковый, словно речь не о палаче, а о добром дяде (простите, о вашем дедушке). Вы уверены, в данном случае, что так можно писать? В применимости слов? Тона? Манеры письма?

А «готовность Виссариона Ивановича»?! Пьяницы из сапожной будки, дебошира, которого сын не видел трезвым. Бросив жену, уйдя в Тифлис, тот сгинул в пьяной драке. Это о нём у вас в семье так хорошо вспоминали? И что же, имели большое значение его взгляды? Его «готовность видеть в жизни смешную сторону»? Это её он передал сыну Иосифу? Неужели?

И о каком долге идёт речь? Или он был в том, чтобы убивать людей? Не иначе, как «виденье смешного» породило и сопровождало ГУЛАГ. Может быть, насмеявшись вволю над смешными сторонами жизни, Дед издал свой

¹ Галина Джугашвили, «Дед, отец, ма и другие», М., 1993, стр. 15.

Указ, разрешающий пытки? Дабы вина была добыта в ста процентах арестов?

Нам самим поискать смешное, дорогая Галина Яковлевна? Или в память о вас этого не делать?

33

Пример окончательной сломленности под пытками палачей приводит А. Антонов-Овсеенко в связи с Косиором¹. Вот как прошла в кабинете Сталина организованная им при участии Ежова очная ставка арестованных Григория Петровского со Станиславом Косиором.

«Ежов. Арестованный Косиор, расскажите об участии Петровского в контрреволюционном заговоре.

Косиор. С Григорием Ивановичем Петровским мы вступили в преступную связь в 1934 году.

Ежов. С какой целью?

Косиор. Мы решили бороться всеми средствами за отторжение Украины от Советской России.

Ежов. Какими именно средствами? Пожалуйста, уточните.

Косиор. Террор, подготовка вооружённого восстания, шпионаж.

Пока всё шло гладко. Полуживой, с остекленевшим взглядом Косиор бубнил монотонно заученные под пытками фразы... Но не выдержал Петровский:

— Стасик, зачем ты клеветешь на себя и на меня?

Косиор мотнул головой, и Ежов тут же велел увести арестованного.

Рассвирепевший генсек подошёл к Петровскому и произнёс раздельно, проводя при этом пальцем под носом Григория Ивановича:

¹ А. В. Антонов-Овсеенко, «Портрет тирана», М., 1994, стр. 146–147.

— А мы шпионов вешать будем! Ты думаешь, тебя спасёт участие в думе?!»

Попробуем прокомментировать фрагмент, добытый Антоновым-Овсеенко.

Присутствие Сталина на очной ставке продумано вплоть до даты. И больше того — до минут. И, как можно судить, согласовано между ним и Ежовым. Либо жертвы ввели в кабинет к вождю, когда там уже был Сталин, либо Сталин по условному знаку вошёл в нужный момент. Таким образом проверялась готовность рассмотрения дела на **открытом** судебном процессе. «Родного дедушку» беспокоило, достигнута ли под пытками, под угрозами в отношении семей последняя степень сломленности, когда в зал судебных заседаний введут, по существу, живых роботов, уже не могущих, не находящихся в состоянии произносить не заученные под пытками фразы.

Забавно, правда? Надо видеть смешную сторону.

34

— ...Сталин добрый, — говорит моя мама, глядя на снимок в книге. — Хотя столько прошёл! Семь раз в тюрьмах и ссылках, прогоняли сквозь строй.

Я смотрю и... почему-то не вижу ни одной доброй черточки на его лице. Наоборот, оно жёсткое, и мне представляется злым. И не то чтобы я стал что-то понимать, — ничего я не понимал при жизни Сталина, — но действительно, глядя на портрет, вдруг увидел в нём жёсткие черты. И уж ничего, ровным счётом ничего человеческого.

— Сталин злой, — почему-то говорю я. — Посмотри, какое жестокое лицо!

— Дурачок, — задумчиво улыбается мама. — Он из тех, кто боролся за счастье других. Он не может быть злым и жестоким.

Массовый гипноз. Его трудно понять новейшим поколениям, хотя кажется им: понимают то время. Поче-

му моя мама так считала, хоть прошла через тридцать седьмой, когда дважды коллеги-врачи шерудили на неё доносы? Через годы, когда даже врачей оставалось вкруг всё меньше. И теперь, на моей уже памяти, – через сорок восьмой, угрожавший с тех пор нам лично.

...Нас не слышит никто. Слава богу. Мы понимаем опасность того, что говорим. Или, кажется, говорю только я... если нас кто-нибудь услышит.

Мне одиннадцать лет. Я сказал: «Сталин злой».

Год тысяча девятьсот пятьдесят первый.

Глава девятая

35

...Я снова в Херсоне – спустя целую жизнь. Страшно вымолвить: шесть десятилетий!

Те же улицы, тот же двор. Помните: проходной на Суворовскую? В нём, кажется, ничего не изменилось, и если с Суворовской заглянуть, не входя, можно увидеть ту же лестницу. Гнилую, наверное, но ту же. Те же, за крученными зигзагами, угадываю ходы внутри.

Хотел было войти, но не вошёл. Ни с Суворовской, ни с Комсомольской, хотя обходил этот двор с двух сторон. Боюсь напомнить себе тот день.

Тот разор.

Ту жуть.

Всю жизнь бегу от повтора состояния, которое вызвал мальчик с прилепленной к стенке головой... Всю жизнь, лишь стоит представить ту сцену, – в ушах стоит «Песня о Сталине». И бесконечные ряды демонстрантов возносят ему хвалу...

* * *

...Я прибежал с Суворовской домой, естественно, потрясённый увиденным. Стал громко рассказывать папе и маме, что только что видел.

— Дурак, замолчи! — сказал шёпотом папа. Он сразу уловил, о чём это я, и что надо бы резко пресечь, чтобы мне было неповадно. И, наступая на меня, повторил:

— Молчи! Ты ничего не видел. Понял?! Не видел ничего... или я тебя сейчас убью.

Мама глянула за окно, — там виделись люди, и, резко закрыв форточку, тихо произнесла:

— Если кто-то тебя услышит, нам не сдобровать. —

И тоже придвинулась ко мне. Я вдруг оказался прижат ими к стене и побелел от испуга, но ничего не понимал.

И, так как не унимался, доказывая, что да, уж конечно, видел, почему они мне не верят: так жутко стекала кровь с мёртвой головы, и так, в таком виде, застыла, и кто мог сделать такое, как не те, в зелёном, которые ходят по ночам, чтобы хватать людей, — отец расстегнул кобуру револьвера, и... я не успел опомниться, как дуло сверкнуло предо мной!

— Не надо, — сказала мама. И встала между мной и отцом. Меня потрясло, что, волнуясь, она произнесла это тихо, твёрдо. Больше того, в тон отцу пригрозила:

— Хоть одному мальчишке в классе, соседу... Понял?! Никому!

Папа, видно, волнуясь, забыл опустить оружие, и дуло револьвера упиралось ей в грудь.

— Ни-ко-му! — повторил он властно, и, обращаясь к маме: «Он должен это понять», оружие опустил, но не спрятал. — Поклянись, что будешь молчать!

— Кля-я-нусь, — я трясся от страха. — Я кля-ну-юсь.

— Смотри у меня, — сказал отец. И спрятал оружие.

Они отошли и шёпотом продолжали о чём-то говорить...

Я замолчал. И ни в школе, ни дома, ни на улице старался уже не болтать.

Спустя несколько лет постепенно я стал ощущать то жестокое время, и до меня стала доходить катастрофа,

в которую я ввергал папу и маму, а заодно и себя. Вся глубина опасности неосторожных слов... Наступал перелом в моём сознании, замасленном славой любимого вождя, запуганном постоянной оглядкой, замученном внутренним страхом, – так трудно пока сознаваемый, болезненный, неожиданный, от искренних слов почтения и искренности любви – к таким же глубинно искренним, жестоким, увесистым словам.

К выстраданному всей глубиной души пожизненному проклятию.

36

«Проклятие нашей семьи, – пишет Галина Джугашвили, – документы. Я думаю, даже когда никого из нас не останется в живых, они шуршащей лавой всё будут ползти и ползти из бездонных архивных закромов под радостный вопль: «А оказывается!..»¹

Здесь мне хочется закричать: «А оказывается... она понимает! Тонко чувствует это проклятие, что как меч нависает над родом!» Внучка Сталина не могла сказать поколению её деда: «Нас ваши проблемы не интересуют. Нам по фигу, как вы жили, с кем воевали. У нас свои проблемы». Внучку Сталина даже очень интересовал её дедушка, его жизнь, всё, что связано с ним.

...Вскоре после застоя Эрнст Генри писал: «Нужно сказать народу всю правду о Сталине». Я думал тогда: «Что значит – всю? Разве не всё ещё сказано о нём? Ну, сказали уже однажды, и хватит». Но вот нет в живых ни Светланы, ни внучки, только новые документы ползут, и шуршащая лава обжигает...

...Я вхожу на Красную площадь, а у входа стоит в форме генералиссимуса и весь в орденах... Сталин! Можно стать рядом с ним: щёлк – и снимок со Сталиным! Пока-

¹ Галина Джугашвили, «Дед, отец, ма и другие», М., 1993, стр. 43.

жи жене – удивится. Можно Сталина обнять. А ещё лучше – если он тебя! Я пытаюсь ему раскрыть эту правду о Сталине, привожу массу фактов. Вижу: вроде доходит. Серьёзным стал, думает... Но вдруг говорит:

— А кто выиграл войну!?

Нет, такие непрошибаемы! Ты ни в чём их не убедишь, потому что для убеждений нужны знания. Нужно хоть что-нибудь читать, хоть немного понимать ту эпоху, прежде чем напяливать на себя его мундир.

Чего стоит, например, такой факт:

«29 января 1942 года Берия отправил Сталину список 46 арестованных, числящихся за НКВД. В нём много генералов, командующие ВВС, бывший нарком боеприпасов И. П. Сергеев. Никаких постановлений не принималось. Сталин просто наложил резолюцию: «Расстрелять всех»¹.

И это в январе 1942 года, когда ещё только отогнали немцев, и стояли они вблизи Москвы! Когда была колоссальная опасность, и «гениальный стратег» не мог это не понимать. Когда так нужны были фронту «много генералов, командующие ВВС, бывший нарком боеприпасов Сергеев...» Вместо того, чтобы немедленно отправить их на фронт, Сталин своей рукой расстреливает их! Его волнует другое: буквально за день до этого, 27 января 1942 года, «организован Тагильский ИТЛ (для политзаключённых, арестованных без всякой вины – В. Л.). В 1942 году из 24 000 заключённых Тагил-лага умерло 10 630 человек»².

— Вы не знаете после этого, кто выиграл войну?

...Ползут, ползут документы, когда почти никого из вас нет, дорогая моя внучка Сталина! И шуршащая лава обжигает...

¹ Газета «30 октября», 2006 г., № 70, стр. 8.

² Там же.

...Спустя десятилетия в писательской среде была создана комиссия по изучению дел бывших узников ГУЛАГа, коллег. Возглавил её прозаик Виталий Шенталинский, работавший с этим много лет.

Из записи в моём дневнике:

5 января 2005 г.

«Валентина Попова (поэтесса) – о том, как изменился под воздействием работы над гулаговской темой Шенталинский: «Гляньте только, Валерий Ефимович, даже взгляд у него стал другим. Был он лёгким, солнечным, распахнутым, а сейчас это мрачный взгляд».

Моя милая, дорогая Галина Яковлевна! Шенталинский – ровесник наш с вами. Сам-то он не сидел, но ему поручили изучить те кровавые дела. Под воздействием одного лишь вхождения – виртуального, как сказали бы сейчас, и притом, через пять десятилетий – в тот, освоенный по документам, мир жестокой эпохи, человек изменился на глазах! И не только взгляд, но характер у него теперь стал другим! Отношение к окружающему миру.

Даже вдали от тех «дел», от того рукотворного ада.

* * *

...Я сидел в бывшей «Ленинке» и вдруг вспомнил, меня осенило, как мучился я, как терзался, чтобы не огорчать Галину Яковлевну, когда отбирал наш альманах. Как думал тревожно, что же ей показать.

Я выписал фрагмент об очной ставке Косиора с Петровским и ваши, Галина Яковлевна, тёплые слова о милом сердцу дедушке, который так заразительно смеялся. И больше заниматься не мог. Я встал, в гардеробе оделся, и меня била дрожь... И с болью сердечной я ехал домой, и весь путь от «Арбатской» до «Щёлковской» в ушах стоял смех величайшего вождя и учителя...

Глава десятая

38

Всего за три года до моего рождения прошёл по России этот смерч. Невиданный. Всеохватный. В тысячи раз превосходящий любой из природных циклонов. И номер у него, как у смерча. С детства меня пугавший:

1937

Явления его возвращались и потрясали страну ещё долгих шестнадцать лет, хотя и в меньшем объёме. Буквально до пятого марта 1953 года (смерть Сталина) шли пытки в застенках Лубянки по придуманным палачами делам, трудились в поту десятки зон... Символично, что после этого дня наступило их послабление. Врачи – те последние жертвы последнего преступления Сталина – не понимали, почему после пятого марта их перестали бить.

...Я говорю с внучкой Сталина о «Деле», которое прямо касалось и её, и отразилось бы на её маме куда сильнее, чем при аресте. Это был повод к депортации народа, к которому в большой степени принадлежит и она, внучка самого большого преступника – Галина Джугашвили.

Два дела – «Еврейского антифашистского комитета» и пресловутое «Дело врачей» – задуманы были Сталиным для депортации евреев – одной из его преступных депортаций. О многом можно не говорить, настолько всё известно, это уже, пожалуй, аксиома. Но... я замолкаю в удивлении, видя, как даже здесь внучка Сталина не согласна! И, так как она упирается и ничего не признаёт, вынимаю газету и читаю:

«В конце 60-х годов приёмный сын покойного профессора Эттингера (врача, проходящего по «Делу врачей» – В. Л.) отыскал стареющего в отставке Н. А. Булганина и записал кое-что из его воспоминаний.

В середине февраля 1953 года Булганину, тогдашнему министру обороны СССР, позвонил Сталин и дал указание

подогнать к Москве и к другим центрам страны несколько сотен военных железнодорожных составов для высылки евреев. Планировалось организовать крушения и «стихийные» нападения на них...»¹

— Вот, — говорю. — Готовили!

— Ха! — говорит она. — Почему-то готовили и вдруг перестали готовить! Так если готовили, почему перестали?

Смотрю на неё в упор, она не отводит глаз... Неужели неясно, почему? Сказать, что ли, ей: «Потому что умер ваш дедушка»? Еле сдерживаюсь. Читаю:

«В феврале 1953 года глава дипломатического корпуса в Москве от имени всех зарубежных послов сделал Молотову официальное заявление: "...если этот кровавый спектакль будет разыгран, то все аккредитованные в Москве послы покинут СССР, посольства будут закрыты и дипломатические отношения прерваны"»².

— Стало быть, испугались, — тихо шепчет она. — Его подставили... а потом испугались.

* * *

Я шёл от неё в тот вечер и думал: «Как передалась через поколение даже ничтожная деталь: это её «Ха!» — от Сталина. Когда по его вине сын Яков стрелялся, но ранил себя, а не убил, Сталин не раз потом укорял его: «Ха! Не попал!»

Да и в устах Галины Яковлевны «Ха!» прозвучало достаточно противно.

39

Запись в моём дневнике:

4 ноября 2006 г.

Смотрел по ТВ фильм «Жена Сталина». С прекрас-

¹ Газета «Еврейское слово», М., 2003, № 2 (34).

² Там же.

ным сценарием и ансамблем актёров. В перерыве позвонил его внучке. Трубку взял её муж.

— Она спит, — сказал Хосин Ибрагим.

— Я хотел спросить, смотрите ли вы этот фильм?

— Какой?

— Называется «Жена Сталина».

— Нет, мы такую ерунду не смотрим, потому что там вольно всё...

Глава одиннадцатая

40

Я писал, как далёк был в детстве от понимания того, что происходит. Да будь я семи пядей во лбу, мог ли я в детстве такое прозревать?!

Один только раз, в классе, кажется, пятом, стоя у входа в пустой класс, я уловил шёпот двух одноклассников. Говорили... о муках в лагерях Колымы (я не сразу понял название), и о чём говорят, не понимал. А приоткрыв дверь класса... обомлел. У доски стоял Гера Волин. Тихий, спокойный, незлобивый. Но не это меня потрясло. Рядом с ним... тихо так стоял Сергиенко — знаменитый во всём городе хулиган, на три года старше одноклассников. Вдумчив был в этот миг, не отличен от смиренного Волина. Я таким его никогда не видел. Гляжу, Волин ему что-то шепчет. И... какая же сила приковала к месту Сергиенко и сумела успокоить, унять, — только бич даже взрослых, грозный лидер шпаны со слезами в глазах и не сразу что-то горестно отвечал...

Я знал, знала школа: Сергиенко выросал один. Папа был как троцкист давно выслан. Сгинул он или жив, сын не знал. Знал, что тот — Сергиенко-старший — потянул по цепочке мать. Сын увидел, как пришли и за ней.

Он попал в детский дом. Там сошёлся с компанией трудных, но таких же несчастных «разбышак». И по мере

их злобы к тем, у кого был дом без привычного слова «детский», – к не несчастным, не таким, как они, становились они опасными. А поскольку среди них, в их тринадцать-пятнадцать лет, попадались такие ростом, кто повыше самого Сергиенко, они грабили на ближайшей дороге, избивали, и жестоко, прохожих.

Из детдома бежал, вновь попал бог весть как в город детства. И наводит ужас на жителей.

Как и все, я испытывал страх при одном его виде. Пару раз он меня избивал. Я в обычное время далеко его обходил. Даже тени его боялся, причём в самом буквальном смысле. Но сейчас он был тих, это был другой тип подростка! Что – о, боже! – сказал ему Волин, что в слезах Сергиенко отошёл, сел за ближнюю парту? И... что было со мной, я не понимал: страх не исчез, но я не уходил. И – вошёл в этот класс! Подошёл, повернулся лицом к Сергиенко. И в глазах у меня застыл вопрос.

– Не слышать. Стало быть, уж его и нету, – словно нехотя прошептал Сергиенко, глядя при этом на меня.

И я понял: говорит об отце. Я спросил:

– А за что он сидел?

(Боже, что я говорю?! Вот сейчас... сейчас... Я ждал удара, от которого отлечу к стене, если останусь жив). Сергиенко встал, подошёл ко мне:

– Ни за что, – сказал не горячась. И я уловил, чутьём почувствовал, что расправы не будет.

– Как же так? – сказал я, осмелев. Искренне сказал. Так, как думал. – Разве в нашей стране ни за что кто-нибудь сидит? – и невольно глянул наверх, на улыбочивые глаза вождя. На плакат о счастливом детстве. – Покажи хоть одного человека, который... ни за что.

Он смотрел долгим, вдумчивым взглядом. И куда только делась жестокость, – та, привычная на его лице? Никогда у детей потом я такого взгляда не видел. Даже когда сам был учителем. В нём было провидение, совершенно не детское. И глубинная, но не детская печаль.

Он сказал шёпотом, но живо:

— Думаешь, нет у нас таких... ну которые — ни за что?

— Думаю, нет, — сказал я. И спокойно вышел из класса.

Он не настиг меня. Не свалил. И потом уже меня не трогал.

Вся сцена, однако, — слёзы Сергиенко и таинственный шёпот, разговор со мной — глубоко мне запала в душу. И чем дальше, тем всё осознанней возвращался я к ней в своей памяти...

41

...Мы любили бегать в соседний, величавый, как нам казалось, дом под номером Комсомольской 16. Выходил он тогда на две улицы, был куда «мощней» нашего, и мне виделось в нём романтическое...

Забежав в его двор в долгой детской игре, пробегая в подъезде по лестнице, я увидел вдруг женщину у одной из дверей. Всё лицо её было заплакано. Видя, как она нерешительно тянется к звонку и, колеблясь, протянув руку, не звонит, я, выбежав из укрытия, позвонил в ту дверь.

— Благодарю вас, — сказала она, хоть я был пацаном десяти, вероятно, лет и стоял перед ней в трусах. — Вы очень любезны.

Я, как стоял, учтиво поклонился, и она поклонилась мне. Сквозь слёзы проступали её тонкие черты, вероятно дворянской интеллигентки. Я спрятался за решётку и выглянул, когда ей отворили дверь, и такая же «степенная» женщина удивлённо сказала:

— Я не знаю вас. Что вам угодно?

— Это наша квартира, — очень тихо сказала пришедшая. — Я хотела бы только забрать его книги (она произнесла два названия).

Я видел, как искренне удивилась хозяйка:

— Так он же враг народа!

— Да какой он враг, — вздохнула «гостья», и в глазах её была скорбь.

— Хорошо, — шепнула хозяйка и, исчезнув, вернулась с книгами. Она протянула их пришедшей, та взяла и стала рыдать.

Хозяйка поспешно захлопнула дверь. А женщина подошла ко мне:

— Это его́ книги, понимаете? — сквозь рыдания говорила она. — Он их написал.

И я зарыдал вместе с ней...

...Спустя сорок лет я запишу:

«Вероломный захват чужих квартир для себя и сотрудников органов, а ничем иным такое "вселение" не являлось, наиболее ярко характеризует сталинщину, как "бандитизм, обращённый в государственную политику"». (Выражение А. Антонова-Овсеенко).

42

Я жил при Сталине тринадцать лет. И никогда — поверите, ни разу! — так голоса его и не услышал. Можно ли сейчас себе представить, чтобы из года в год не слышать Президента?

...Год тысяча девятьсот сорок девятый. Страна торжественно празднует великий юбилей. Сегодня гениальному вождю и учителю исполнилось семьдесят лет. Мы с бабушкой не отходим от радио. Транслируют торжественное заседание в Кремле. Приехали главы всех коммунистических и рабочих партий, весь мир в этом зале, и выступает на разных языках.

— Разрешите мне самому перевести свою речь на русский язык, — трудно, медленно говорит глава итальянских коммунистов. Я слушаю Пальмиро Тольятти и запоминаю на всю жизнь...

Мне девять лет.

— Тс-с, — свято произносит бабушка, и мы прини-

каем к репродуктору. — Ну вот сейчас, сейчас... Трансляция идёт уже четвёртый час. Не может быть, чтоб он сейчас не выступил! Ну, должен же он сказать ответное слово.

— А если не скажет? — спрашиваю я.

— Такого не может быть. Есть понятие вежливости. Я так хочу услышать голос Сталина! Боюсь отойти даже по нужде.

Но заседание закрыли. Сталин промолчал.

Глава двенадцатая

43

Запись в дневнике, оставшаяся без даты:

«...Вновь позвонил Игорь Бортников. Теперь он говорит — с моих подач — о внучке Сталина хорошо. Интересно, задаёт вопросы. И резко изменил слова о дочке Сталина. А ведь недавно, в связи с внучкой, нещадно её ругал. Мол, «яблоко от яблони...», «оттого она и такая». Сейчас, оказывается, Геннадий (народный артист, брат Игоря) встречался с ней в интеллигентских кругах, к которым она действительно тянулась. И говорит о ней, как об отличном, незаурядном человеке. Отождествлять её с отцом нельзя. («Что вы, Валерий Ефимович!» — всплеснул руками Игорь).

Разве до этого Геннадий ему о ней не говорил?

Жалко, что нет уже Геннадия. Что он никогда не узнает тех слов, что изрекла она сейчас, вдали от России и от эпохи отца, живя девятый десяток и чувствуя близкий конец, когда сказать уже можно что угодно:

«Я ненавидела Россию, советскую Россию. Никогда туда не вернусь. И не являюсь этнической русской».

И ещё: «Они думали, что я, как дочь Сталина, обязана быть верноподданной советской гражданкой. Но я не была таковой. Как и моя мама. Как и моя немецкая

бабушка. Как и моя грузинская бабушка. Я никогда не была «одной из них». И они не могут понять этого до сего дня»¹.

Живя в одиночестве, а её покинула даже младшая, американская дочь, резко постаревшая тётя Светлана уже ничего не писала.

44

— Я прочёл ваши книги, дорогая Галина Яковлевна, — говорю ей по телефону.

— Хорошо, что меня кто-нибудь читает... Заходите, поговорим.

— ...Мне кажется, ваши повести напоминают раннего Каверина, — это уже у неё дома в пять вечера. — Его первый роман конца двадцатых. Не чётко, не выработан литературный стиль, язык не прост, композиция скачет. Кроме того, у вас постоянно преобладает подтекст.

— А я Каверина ничего не читала, — говорит она без смущения. Неуверенно как-то говорит. А подтекст вы увидели правильно. Мой редактор, читая при мне, качал головой и говорил: «Один подтекст... А где же сам текст?»

— Не читали Каверина?!

— Нет, вспомнила: читала! Одну книгу... Ну, как её?.. «Белеет парус одинокий».

— Это Катаев, а не Каверин.

— Катаев? Ах, стыдно... Но мне всё равно.

Ей всё равно. Она работает в Институте мировой литературы!

Я вспомнил невольно, чуть не сказав ей вслух, как рассмеялась Белозерская (вторая жена Булгакова), когда я сказал ей, что Сталин, как пишут, читал пятьсот страниц в день: «Дай бог, чтоб он за свою жизнь прочёл пятьсот страниц!»

¹ «Светлана Аллилуева». Документ в интернете. Создан 22 мая 2009 г.

— Во мне течёт его кровь, — произносит Галина Яковлевна.

Глава тринадцатая

45

...Вернувшись в СССР, «тётя Светлана» как никогда себе противоречила. Прежде всего, самым фактом своего возвращения на родину. (Помните, заявляла, что никогда не вернётся, что ненавидит Россию и т. п.?) Но, лишь ступив на землю СССР, на пресс-конференции сказала, что «ни одного дня на Западе не была свободна»! Значит, вернулась, чтобы... быть свободной? В стране, которую ненавидит? То есть... переменила взгляды (которых никогда не меняла)?

Можно развернуть целую таблицу явных противоречий Светланы, заявленных в СССР и на Западе. И вообще в её книгах — по отношению к реалиям. Строй её образа противоречив. В нём, как говаривал Юрий Трифонов об одном из своих героев, много всего намешано — и хорошего, и плохого. Порой она пишет то, что позднее её же перо не подтверждает. При чтении её книг я выделил тетрадь, где на обложке вывел: «Разночтения».

Так, она говорит о разочаровании в Западе. В какой-то степени это так — после пятнадцати лет жизни в Штатах. Но сопоставим это с другими её оценками:

«...американский образ жизни стал моим образом жизни с поразительной лёгкостью...»

«Процесс роста моей дочери и её воспитание... помогли мне почувствовать, что Америка — это наш дом».

«Глядя на Америку сегодня, я вижу её такой, как описал Владимир Набоков в "Лолите" — так точно и хорошо: "...прекрасная, доверчивая, мечтательная... страна"»¹.

¹ Светлана Аллилуева, «Далёкая музыка», М., 1992, стр. 24–25.

И всё это... при полном отсутствии своей свободы?

В Англии, куда она переехала из Штатов, – находим у Роя Медведева, – «...она со всё большей и большей ненавистью говорила об СССР и Советской власти»¹. Сама она в третьей книге пишет:

«Мне ненавистно было возвращаться опять к памяти о прошлом, к моей жизни в СССР, в Кремле»².

А в Москве потом говорила, как она предана СССР!

Много мест в «американской» книге уделяет она поздней дочке: занята её воспитанием, выбирает, где ей учиться, ездит с ней по дорогам Америки, болеет за неё. Это умная, по словам её, девочка, хорошая. Но вот строки письма её другу, приводимые тем же Р. Медведевым:

«Я связана по рукам и ногам этой длинноногой и пустоголовой, испорченной девчонкой. В воскресенье она возвращается в школу, слава Богу! Когда она со мной, я как никогда тоскую...»³

Трудно, правда, создать её образ? Разнотимый на всём протяжении...

Но само её время в России разнотимо в моём осознании.

46

...Ох, и жутко встаёт это время в болевой, раскалённой памяти... Жили мы в нескончаемом страхе. Кто-то – ожидая, что придут и за ним, в пылкой своей фантазии видя уже эту сцену; кто-то – не видя, но каждодневно боясь.

Сталинизм сравнивают с фашизмом. В пору позднего Варшавского гетто затравленные до предела люди боялись даже во сне. А чаще не спали, боясь, что в любую секунду ворвутся и расстреляют или уведут.

¹ Рой Медведев, «Свита и семья Сталина», М., 1991, стр. 408.

² С. Аллилуева, указ. соч., стр. 76.

³ Р. Медведев, указ. соч., стр. 408.

Страх при Сталине, который я помню, налитан теми же корнями. Мне не забыть, как мама однажды «летела» на работу, ибо ошиблась при заводе часов, и выходило, что в лучшем случае опоздание составит... пять минут! Но всё равно опоздание. А за него – под суд! То есть, уйдя, «убежав как сумасшедшая», в ГорСЭС, мама могла потом ждать ареста. Не то чтобы там могли арестовать, но донести – вполне. По практике. По привычке. По обязанности начальства. Просто внесли бы в список опоздавших. Но всё равно, что в список на арест. А кто-нибудь и донёс бы ненароком, если бы в список не внесли. А там бы судили без суда. Дали бы срок, искалечив судьбу. Оторвав от меня, малолетнего, от мужа – от семьи. И всего, чем жила, если говорить о деле. Страшно подумать, как бы она попала к уголовникам, как бы её засасывала практика тюрьмы.

...Она выскочила без еды и питья, что-то выкрикнув своей маме. Между нашей Комсомольской 14 и Советской 41, где располагался эпидотдел, которым она заведовала, минут десять-двенадцать ходьбы, если завернуть налево и по узкому, чуть в ухабах, переулку...

А если «бежать как сумасшедшая»? Как если б был кросс и оставались секунды?

Мне одиннадцать лет. Но, наслушавшись радио, начитавшись газет, я представил, как она, запыхавшись, прибежала, а они, работавшие с ней бок о бок и знавшие её с лучшей стороны, сухо встречают и объявляют, что сегодня, февраля тысяча девятьсот пятьдесят первого года, в девять часов ноль пять минут, её, врача Херсонской санэпидстанции Дину Давыдовну... за опоздание на работу на пять минут – именем Украинской Советской социалистической республики... внесли в список на арест.

Кто б мог её выдать? – болезненно думал я. – Этот старый главврач Пётр Мальт? Мы считали его другом дома. Он по выходным ездил с нами на пляж в близлежащий город Цюрупинск. Он был из зажиточной семьи и до

революции кончил институт в Швейцарии. Или подруга мамы – врач Дашевская – молодая, красивая, не так давно поступившая под её начало и бывавшая у нас в доме, составляя вместе с мамой отчёты? Нет, представить себе такое я не мог: это были хорошие люди. И все, кого я знал по горсэс, были людьми хорошими. Но... кто-то же там, чёрт возьми, стоял у входа в старую деревянную дверь и отслеживал... И потом доносил.

Весь этот день я страшно волновался. Но вечером мама пришла. Оказалось, не опоздала!

— Я так бежала, – чуть сердце не вырвалось.

Могло и вырваться. Могли и донести. Если б, конечно, опоздала.

И, если б не опоздала, тоже.

Глава четырнадцатая

47

С этим грузом живёт моё поколение... Но возможно ли жить с болевым грузом в сердце?

Нет, хотя бы порою от гнетущего надо уходить! Отдохнуть. Отвлечься. Сколько можно говорить о плохом, развивая рассказ в негативе, когда вот сидим с Галиной Яковлевной, и я нагнетаю, нагнетаю... Всё хочу её подвести к злодеяниям дедушки Иосифа... А она знать о них не желает. И тем более – говорить. Страшная это участь – внучка Палача.

И становится мне её жаль. Просто по-человечески, сердцем... А в портфеле у меня – старый снимок. Редкий, однако, уникальный. Надо ж так, вожу его с собой.

— Посмотрите, – говорю, – отвлечёмся. – И кладу его перед ней. – Внучке Сталина будет интересно.

А на нём, понимаете... Хрущёв! И она морщится сначала. Но берёт, приближает к глазам, вслух читает:

— «Никита Сергеевич Хрущёв с родственниками». И смеётся, так как снимок – в газете, и даёт его журна-

лист в порядке прославления. И звучит в её смехе не-приветное, злое: «Вот, пожалуйста! Тоже культ, но уже и не Сталина». И приятно ей, его внучке, что уже не о бабушке речь. Что вот то же и без него бывало. Я хочу уже забрать этот снимок, а она его держит, всматривается... И я вижу злорадство в её добрых глазах.

И тогда, продолжая сцену, достаю выписку из «Ленинки». Ту, что сделал сегодня, два часа назад.

— Я прочту вам письмо брата Мартова из тюрьмы, куда его бросили при Ленине.

— Брата Мартова? Вождя меньшевизма? — она отвлекается от снимка. — А где был сам Мартов?

— На свободе... до отъезда на Запад. Ленин бросил в тюрьму его брата.

— Слушаю, — затаённо говорит она. (Вот же снова не Сталин, а аресты, тюрьма! И злорадное в её взгляде не гаснет):

— А кому адресовано письмо?

— Как кому? В ЦК РКП.

Тихо-тихо вокруг... Я читаю письмо:

«...Берёт ли на себя ЦК ответственность за все перечисленные мною безобразия? Считает ли он нормальным, что люди, десятки лет своей жизни отдавшие делу социализма и рабочего класса, ныне, при господстве вчера ещё гонимой партии (которая так возмущается гонениями на своих единомышленников со стороны буржуазных правительств), содержатся в условиях, заставляющих порою с сожалением вспоминать тюрьмы, в которых мы сидели вместе с нынешними правителями.

Неужели поколеблется диктатура коммунистической партии от того, что пленённые социалисты внутри тюрьмы... будут не под замком, смогут обращаться между собой, смогут пользоваться уборными, будут дышать свежим воздухом не 1 час в сутки, а несколько часов. Будут ли потрясены основы этой диктатуры, если они будут ви-

деть своих жён, матерей и детей не раз в неделю, а два раза, не по часу, а больше?

ЦК РКП очень занят, конечно, важными государственными делами. Но, право, если он дорожит честью и достоинством своей партии, он хорошо бы сделал, если бы заглянул во внутреннюю тюрьму ВЧК и в одиночный корпус Бутырской тюрьмы, чтобы ознакомиться с тем, что делают тут во имя революции и коммунизма»¹.

Я закончил читать. Смотрим мы друг на друга, и она вдумчиво поводит головой... («Начиналось-то оно ой когда... – я читаю опять в её взгляде. – И при чём только тут мой дедушка?») И, как будто поняв, что ясна её мысль, заключает:

— Вот. А вы говорите...

Но я ничего не говорю.

48

Из поздних дневников (1986 г.):

...На днях был свидетелем разговора двух ветеранов КГБ. Один работал при Сталине в Орле. Другой – при Хрущёве и Брежневе, без малого тридцать лет, в бухте Тикси на Лене. Коллеги, а разница колоссальная. И вот они вспоминали... В речи первого, как только начинал говорить, звучало: «Аресты, аресты...» Невольно, непроизвольно, по привычке – главное, что приходило на ум.

— Какие аресты, Иван Петрович? – искренне изумлялся второй. – Я проработал в органах почти тридцать лет. За эти годы у нас был... один арест. И то, правда, несостоявшийся.

— Как это, как это? – не выдержал я, вступая в их разговор. – Что значит «несостоявшийся»? И почему один? Это за тридцать лет?

¹ Т. Ю. Попова-Цедербаум, «Судьба родных Мартова...», М., 1996, стр. 23.

— Да, с пятьдесят четвёртого... Был у нас нарушитель границы. Местный житель, который на лодке заходил в нейтральные воды. Ему радировали, чтобы немедленно вернулся! Он не подчинялся, и его возвращали. Мы его вызывали и допрашивали. Брали с него подписку, что больше не будет. Он даже обещал. Но... по-прежнему выходил на лодке за пределы советских вод...

— Понятно же, для чего, — вставил я.

— Эфир мы прослушивали, — улыбнулся чекист. — Но — ничего такого...

— И вы его арестовали?

— А что было делать? Но не могли держать без доказательств более сорока восьми часов. Правда, он испугался ареста и больше не заплывал за черту.

Рассказ как рассказ. В моём присутствии и даже с моим участием. Я видел, как заинтересованно слушал второй энкаведист... Когда дошло до ареста, глаза его загорелись, он вспоминал своё:

— А мы арестовывали... Не было дня...

Я не мог это слушать, ушёл.

Глава пятнадцатая

49

Пятого марта 2003 года, ещё не было девяти утра, я набрал номер Шерешевского:

— Поздравляю вас с этой датой!

Он коротко рассмеялся:

— Это всё?

— Обнимаю вас, — сказал я. И повесил трубку.

Да, это было всё. Чувство радости, чуть ни злорадства, какое бывает разве лишь при победе над врагом, обуревало меня в тот день. Это была традиция. Пятого марта я звонил ему много лет...

Неужели прошло полстолетия?

Я припал к стеклу письменного стола и с минуту сидел с закрытыми глазами.

Полстолетия и несколько дней...

* * *

...В начале марта пятьдесят третьего года, около девяти часов утра в квартиру на Комсомольской постучали. Бабушка открыла дверь, и вошёл мой соученик Юрка Сидоренко. Обычно негромкий, в душе ищущий ответы на интересующие его вопросы (впоследствии – доктор медицинских наук), он выглядел возбуждённым.

— Слышали? — обратился он к бабушке. — Сталин тяжело заболел!

— Ка-ак?! — Что ты говоришь!? — я сел на постели. Я был болен в тот день, и мама меня не пустила в школу.

— Откуда ты взял? — спросила бабушка. Она побелела лицом.

— Они ничего не знают! — всплеснул он руками. — У Сталина случился инсульт! Где у вас радио?

Бабушка включила. Лилась музыка Бетховена.

— Вот, сейчас...

Музыка не стихала, а сообщения не было.

— Скажи, что передавали? — с волнением повторила бабушка.

— Инсульт был ночью, — он говорил с горящими глазами. И сама эта фраза была такой, как если бы речь — о родном человеке. — Сейчас... я отдышусь... В половине второго ночи... Сталин был у себя в кабинете...

— Иосиф Виссарионович! Родной! — ещё больше заволновалась бабушка. — Что передают: как он?

— Пока без сознания.

— Боже мой... — Сев на придвинутую мной табуретку, бабушка чуть не упала.

— Не волнуйтесь, Берта Наумовна... Когда я шёл к вам по двору, навстречу шла моя тётка, — он никак не мог отдышаться. — Ей говорят: «Слышали: Сталин тяжело за-

болел?» Она всплеснула руками и рухнула без сознания.

Мы не спросили, что с ней случилось: было не до неё. Отдышавшись, Юрка закончил:

— Её привели в сознание холодной водой в лицо. А у неё больное сердце.

Я встал с постели с температурой. Мы стали ходить по комнате. Никто не произносил ни слова.

Пришла моя мама.

— В половине второго ночи, — сказала она с порога. И сокрушённо покачала головой. — В рабочем кабинете.

— Что тебя удивляет? — спросил я.

— Значит, **работал** ночью в Кремле! — На лице её было написано: «Мудрый вождь. Как он думает обо всех! Все уже спят, а он — неутомим».

...Музыка вдруг прервалась. Зазвучал голос Левитана...

50

А спустя ещё год, в годовщину смерти вождя, когда что-то ещё не ясное, но никем не произносимое вслух, как-то странно пронзало всё вокруг наряду с ещё не стихшим поклонением; когда ожидание какого-то слома как бы провисло в воздухе, и всю ситуацию можно было принять за стихаемый постепенно траур, я написал скорбный стих, ещё неумелый, но искренний, и послал его не куда-нибудь — в «Правду»! Всё, что писал тогда, забыл, а первое четверостишие помню:

***В Херсон весна приходит с мартом,
Когда сдаёт права февраль,
Но в этот раз весенним стартом
Была народная печаль.***

Тогда было принято на письма отвечать, и на всю графоманию приходили ответы. Стихов не печатали, я к тому привык, но этот ответ не столько удручал, сколько был... непонятным, странным. Ничего ещё нового вокруг

не было сказано о Сталине, а рецензент укорял, что в стихах «политических много заблуждений».

Я показывал папе с мамой и стихи эти, и ответ. «Хорошо, – говорил я им, – ну пусть слабые стихи, но что значит такое: политических заблуждений?» Надо сказать, они задумывались, ещё глядя друг на друга с вопросом, но подспудно я уже не боялся, что отец наведёт револьвер.

51

Но наивность святых детских лет глубоко вошла в плоть и кровь... Даже в восьмидесятых мне всё ещё казалось, что так же, как и я не знал и не понимал всего о Сталине, не знали и не понимали другие. Было что-то от удивления, когда известный биолог, член-корреспондент Академии наук Волькенштейн, отвечая на мой вопрос, как воспринял смерть Сталина, сказал:

— С одной стороны, я был рад. Потому что умер тиран...

«Вот уж как», – думал я, не изжив до конца наивность.

...А ещё через двадцать лет в мою «Музу» принесла материал поэтесса и прозаик Сычёва. Это был документальный рассказ о былой коммунальной квартире, о смешном их соседе И.Р. И смешное её удивление было под стать моему:

«Это был пожилой человек невысокого роста, худой, почти лысый, всегда одетый в белую майку и чёрные брюки с подтяжками. Он не выходил, а выбегал из своей комнаты и бежал по коридору на кухню, стуча тапками по полу, что-то бормоча себе под нос и чертыхаясь...

Когда умер Сталин и все вокруг рыдали, бабушка мне рассказывала, что И.Р. был единственным в квартире, кто радовался этому событию и очень её удивил, сказав ей: «Слава богу, этот кровопийца сдох!»

Значит, этот смешной И.Р. – и тот что-то знал!

А я?

Глава шестнадцатая

52

...Теперь, когда сказано было вдоволь – хорошего, тёплого с моей стороны, имея в виду Галину Яковлевну, когда тысячу раз я сдерживался, чтобы о негативном промолчать, – слово за слово мы вошли в рамки официальной беседы. Той, которую уводила от Сталина его постаревшая внучка. Впрочем, беседа об её отце имеет самостоятельную ценность.

— Галина Яковлевна, в отличие от Светланы и отчасти Василия Сталиных, отношение к памяти вашего отца – Якова Джугашвили – в массовом сознании положительное. Более того, сочувственное, каким оно стало после показа телесериала «Освобождение». Как вы оцениваете эту киноверсию?

— Я отношусь к ней, как к художественному фильму. Но принимать на веру то, что показано, не приходится. Ход этого сюжета нереален, так как по документам Сталину не было сделано официального предложения об обмене. А там это показано, как нечто официальное.

Хотя сцена очень эффектная, но невооружённым глазом видно, сколько там накладок! Папа не был солдатом, а был старшим лейтенантом. После Артиллерийской академии он командовал батареей в 14-м гаубичном полку...

— Почему о его судьбе так мало известно? А что говорят ветераны полка?

— От полка почти ничего не осталось. Так что отыскивать людей, которые были вместе с ним, было проблемой для меня и для Валентина Жилыева – автора идеи документального фильма об отце. Практически это ничего не дало.

— Почему же тогда вы считаете, что плена не было, что ваш отец погиб в бою?

— Вскоре после его прибытия на фронт, в начале

июля 1941 года, был бой под Лиозно, в районе Витебска. Бой, который решил судьбу полка. И после которого никаких достоверных сведений об отце больше не было. Думаю, что в реальности было одно из двух: либо в плену он не был, либо попал так серьезно раненным, что вскоре и умер.

— Наши его не искали?

— Не могли искать, потому что отступали. А нашли ли немцы — вопрос.

— ?

— Они объявили о его пленении. Затем была выброшена куча листовок с его фотографией и якобы письмом к отцу.

В наши дни была экспертиза. Установлено: это подделка. Но очень хорошая, — в тех условиях можно было поверить. И были случаи сдачи в плен (стало быть, плохи дела, раз уж к этому призывает сын Сталина!)

— Вы видели это письмо?

— Да, копию. Экспертиза его сличала с почерком отца.

— Похож?

— Нет, абсолютно. Больше того, установили, что это писал... не русский. По стилю. По манере письма.

— Но ведь отец и не был русским.

— Насколько я помню по словам мамы, он говорил даже без акцента. А ведь в четырнадцать лет, когда приехал в Россию, он очень плохо знал русский язык. Но жил среди русских. Общался с русскими. Здесь он окончил школу, институт, академию... И всё общение — на русском языке. А по-грузински мог говорить только с отцом или летом, когда в течение недолгого времени отдыхал в Тбилиси у родственников.

Так что писалось немцем: чувствуется чужой подход.

— Есть ли что-нибудь новое, что бы открыли уже после экспертизы?

— В какой-то мере — итоги работы над протоколами допросов отца. Их обнаружили случайно в двух местах,

когда наши войска уже перешли границу СССР. Одну часть нашли в документации Гудериана. Они просто были подшиты. При чём тут танковые войска Гудериана и каким образом это там могло оказаться – загадка.

Вторая часть – в документах Люфтваффе (ВВС). Причём, ни один из допросов не имеет подписи отца.

Это обнаружилось именно сейчас, в последние два года, потому что только сейчас этим стали серьёзно заниматься.

— А вы читали эти протоколы? Каково ваше впечатление?

— Бросалась в глаза противоречивость ответов. Например, два допроса с интервалом в один день:

«Как вы попали в плен?»

Первый раз он отвечает:

«Мы сражались до последнего патрона...»

На следующий день говорит, что все разбежались, побросали оружие, искали штатскую одежду, чтобы переодеться (просили у местного населения).

Другой вопрос:

«Где вы родились?»

Папа якобы отвечает:

«В Баку».

Тогда как на самом деле родился в селе Бадзи в Грузии. То есть они даже этого не знали.

— А мог ли быть повод для возникновения у немцев самой идеи пленения сына Сталина?

— Жилиев предполагает два варианта. Или из попавших в плен был кто-то, кто согласился играть роль моего отца: внешне схожий и его в какой-то степени знавший. Или же немцы захватили достаточное количество документов. Второе могло быть так. Грузовик, который при отступлении перевозил всю документацию полка, загорелся. Но неизвестно, догорел или нет.

Кроме того, если они нашли документы отца, то какие-то могли быть при нём... Причём, немцы обраща-

ли внимание только на убитых офицеров. (Документы у убитых солдат не изымали).

— А были ещё и снимки: сын Сталина в плену...

— Есть приблизительное сходство: по типу лица. Но с волосами... опять неувязка. На снимках висит кудрявая прядка – маленький чубик сбоку (завиток). Видны очень густые волосы и круто выющиеся. А у него были волосы, как у меня: он был подстрижен, и волосы были чуть волнистыми. Лежали, видите, вот так (показывает).

Кроме того, на снимках неестественно падает тень. А шинель... почему-то застёгнута на женскую сторону (приём зеркального отражения). На снимках, а их штук десять, много ретуши.

И есть снимки от 14 июля 1943 года, когда он якобы был убит при попытке к бегству. Обычно в таких случаях заостряют внимание на лице. А тут лица не видно. Вот посмотрите (показывает копию): – На проволоке кто-то висит. Кто? Лицо затемнено.

— Вы тогда были ребёнком. Запомнился ли вам отец?

— Да, помню: всегда милое, улыбающееся лицо. Помню халат его полосатый, в котором ходил дома...

Он проявлял внимание и ласку, делал всегда подарки, книжки мне дарил. (Я ещё спрашивала: «Привёз литературу?») И помню колокольчики – волшебный подарок, каким он мне тогда казался. На чём они были?.. На проволоке, продолговатые. Мне нравились подарки отца.

— Чувствовали, когда росли, его отсутствие?

— Ещё как! Хотя мама ко мне идеально относилась, мне очень не хватало мужского начала. Если б отец остался жив, уверена: жизнь моя сложилась бы иначе. И сама я была бы другой...

— Какой именно?

— Характер сформировался бы иначе. Он был бы более общительным, раскованным. Я бы умела и знала гораздо больше. И не была бы такой замкнутой...

На этом в тот день была прервана беседа. Но в записях разговоров с ней, сделанных в другое время, было столько уже всего, о чём я поведал выше, что было естественно к ней не возвращаться. И об отце она сказала всё, что только могла.

Я тепло с ней простился, и мы иногда звонили друг другу... Вышла беседа, и я успел ещё ей привезти её. Я видел, как она резко изменилась, как непонятно куда делся огонь её глаз, как стала застывать её улыбка, но совершенно не понимал, что с ней происходит, приписывая это домашним ссорам и вообще домашней обстановке. А она... быстро умирала, просто таяла на моих глазах. Но время от времени в наших квартирах звучали взаимные звонки...

А ещё через короткое время мне позвонил Игорь Бортников. Помните: «Ваша подруга умерла»? В тот день я узнал, что у неё был рак, и как мучилась она всё это время, пройдя одну за другой ряд операций.

Вместо эпилога

...Возвращаясь не раз в своих мыслях к дням знакомства и встреч с внучкой Сталина, вспоминаю важный момент. Я бы сказал: символический.

Помните, в первый день, задолго до беседы о Якове, когда я ещё ничего о нём не слышал от неё, она вскользь заметила: «Он не был в плену». Стремясь к теме репрессий, я не хотел отвлекаться, но всё-таки спросил: «Кому было нужно создавать такую легенду?» Мне показалось, что она замялась:

— Немцам...

«Ну да уж: немцам!» — подумал я. До такой степени в сознании укоренился образ палача, которым был дед Галины Яковлевны, казнившего даже членов собственной семьи, что мысль была: здесь почерк Сталина! Казнил Аллилуевых. Даже жена из-за него погибла. А после посадил и жену сына.

«Да, это он! – был уверен я. – Убил Якова – нелюбимого сына. А в недрах НКВД дали ход легенде о гибели Якова в плену...»

Вечером я это записал на предварительных листочках дневника. И, не вникая, для чего Сталину надо было казнить ещё и сына, да ещё в первые дни войны, когда было не до того, и Сталин сократил репрессии, я добавил для себя к его преступлениям и это.

Вскоре я понял, что не прав. Именно немцам это было надо, чтобы в листовках от имени сына Сталина вещать о ненужности дальнейшей борьбы.

Таким образом, в смерти Якова Сталин не был виновен. И сама по себе эта мысль наивна. Но то, что такая мысль возникла в связи со Сталиным, не случайно. В сознании моём, и больше – в неосознанной глубине, в подкорке, – под дикий стук невидимых секир, с которых стекает кровь миллионов убиенных, шестой десяток лет Сталин ассоциируется с понятием **разбой**. С преступлением против человечества. Наряду со зверствами рабовладения. Средневековой инквизицией. И самым жутким из преступлений всех времён – фашизмом.

— ...Я слушаю вас, Галина Яковлевна...



СТРАСТЬ ЗИНАИДЫ ГИППИУС

Фрагмент романа «Вокруг Зинаиды Гиппиус»

ПОЦЕЛУЙ КАК ВЕРШИНА БЛАЖЕНСТВА

1

...Она очнулась под сильным впечатлением, не испытывая того, что чувствуют женщины, но дух грандиозного, необычайного ошеломлял, будоража её... Ну, дьяволица, какой настрой, какое сладостное ощущение! И этот... жар, который она не могла понять. Это было секунды, но – подъём, горячие вихри и дикий, необузданный пыл. Он медленно покидал её, переходя в память об этом, конвульсиями, толчками, вздрагиванием давая о себе знать...

Когда-то у неё было это с Волынским, и вот теперь – с тем, к кому так рвалась её душа...

...Так один или два поцелуя она позволила себе как грех?

То были дикие несколько секунд, пока её Дима не отстранил руками, пока не вырвался из её объятий... Он, кажется, хотел крикнуть: «Не надо!», но только издал звук «не...» и с бешеным взглядом, в котором застыли укор и ужас, – она никогда его таким не видела! – рванул к двери и с ходу открыл её, но... оказавшись снаружи, не хлопнул ею, о нет, воспитание не позволяло хлопнуть дверью, а плавно прикрыл, даже в таком состоянии...

О, Дима Философов! Её Дима...

Только её ли после того?

О, что это было?.. Что было?..

Свершившееся наполняло её неистовой, непонятной энергией, несло перемену, вдохновляло и в то же время... снижало, отяжеляло, угнетало. Разве знакомые женщины это поймут? Разве должна она э т о открыть им?

Она застыла в прострации, не в силах сдвинуться с места. Неужели это была она – сильная, волевая, насмешливая? Прямая, словно сжимал её корсет, привыкшая проходить пред людьми с видом некого превосходства, отпускавшая в разговорах иголки. Ведьма! «Декадентская ведьма», как называют её за глаза. Нет, послушайте, это стоит, что о ней говорят: «Не осталось ни одной рюшечки, пуговики, пришитой чуть выше или ниже, чем ей положено быть, неприметной и незначительной в одежде гостыи, которые не обыграла она в своих колкостях!»

Ей отвечали? Был такой случай? Увы, сглатывали укол. Молча, с застывшей от обиды душой. Против Зины, как против опасной и не изученной болезни, ещё не нашли противоядия.

2

Но сейчас ей было ни до кого. Сейчас она не могла бы уколоть даже самую безобидную пигалицу. Она прошла в ванную и стала под душ. В зеркале отразилось её белое, стройное тело. Она его видела сквозь дымку и ощутила, как сползла, растворилась пред взором пелена и представало её п о т а й н о е . Невольно, привычно, сконфуженно она опустила глаза, но тут же, как будто сквозь крик изнутри, вновь подняла их и увидела тонкие мальчиковые бёдра и тесную, плоскую грудь. Точнее – то место, где она должна быть. Сдавленно, в такой миг ненавидя себя, она опустила взгляд ниже... ещё...

О, этот, в мгновение бросающий в бездну её величавое «Я», напоминающий ей, **кто** она, позорящий, рву-

щий душу момент! Вмиг отчуждающий её от других.

О, нескончаемая мука!

Внизу, там, «где юный Бог покоится меж розой и лилеей», за внешним приличием роз и лилей... покоилась в тайне трагедия.

В ТОТ ВЕЧЕР

В квартире была тишина. В соседней комнате Мержковский правил очередной фрагмент. Работал неистово, фанатично, но не было его слышно, как будто его там нет. Возвышающаяся над плетёным креслом, в котором она сидела слишком прямо, с лицом, в полумраке задвинутых портьер больше напоминавшим библейское, с копной ниспадающих по краям с головы золотистых, но сейчас казавшихся чёрными волос, она походила на собственный бюст, вылепленный, должно быть, из воска.

Так сидела она уже сорок минут. Подавленно и вдохновенно в одно и то же время. Именно так, смешав несоединимое – в страстном, ранимом, возвышенном...

Но что значит страсть, когда надо работать! Страсть, оборванная в тот самый момент, когда тело требовало другого...

Тело?

Усилием воли она заставила себя встать и пройти за письменный стол. Рядом – СОБЫТИЕ, а событий она не пропускала. Готовился первый номер журнала «Мир искусства», к которому он – Дима, Дмитрий Филосов, от истоков события причастен. Ей доставляло радость вспоминать штрихи их встреч, разговоров, решений...

Где и когда впервые она увидела его? В Петербурге? Быть может, в Париже? Нет, конечно же, нет... Тому будет лет семь – и она вспоминала о Ницце, где он был почти юн... Почему он прошёл тогда мимо неё?.. Почему

не тогда, а спустя столько лет?.. Не заметила? Не увлеклась? Может быть. Но тогда он не произвёл впечатления, и она позабыла его.

Ну, а вспомнила этой весной, на Сицилии, в ионическом блеске – Таормине.

...В Петербурге сейчас плюс девять, а там, в Таормине, полгода назад росли на деревьях грейпфруты, а в зарослях солнечных кипарисовых рощ было жарко, но в меру. Ах, какой это был чудный день на чарующей, сказочной вилле, где они любовались экзотикой – танцем нагих мужчин.

О, интим! Откровенность! Ах, скорей записать, пока в памяти свежи детали...

Она сделала пару набросков и... между строк увидела себя, сидящей на виду у посетителей виллы, по центру к танцевавшим. А мужчины, в чём мать родила, наплывали на них, отдалялись и кружились, кружились вокруг... И она к ним прильнула – ей казалось – вплотную, словно тоже кружилась, в ярком танце плыла...

Муж ей, кажется, сделал замечание. Вся душа его сжалась в комок, он испытывал жуткую стеснительность и не знал, куда деться:

— Право, женщины в таких случаях отворачивают глаза.

— Не дождутся! – она выставила монокль и демонстративно, всем телом, подалась вперёд, дабы разглядеть покрупнее...

И тут она увидела его, сидящего по центру напротив и с жаром, ну право, не очень понятным, глядящего на ему однотипных. Лицо его было изумительной красоты, черты вылеплены как будто для того, чтобы привлечь к ним внимание и бесконечно любоваться ими. Взгляд её возвращался к танцующим, не глядеть на них было выше сил, но, отрываясь на миг, лишь на миг, она снова и снова рассматривала его красу и то, как смотрит он на нагих, как плавно срабатывают черты лица, как бы

в ответ на их движения, как если бы сам он участвовал в танце... И в памяти так и смешались нагие мужские тела и только один этот страстный – и в те же секунды сдержанный – и жаркий, и хладнокровный в один и тот же момент лик этого молодого человека...

...Как истинная художница сейчас, в холодном, дождливом Петербурге, она отрывалась от холста, то бишь листа бумаги, будто вглядываясь в незримую сицилийскую даль и перенося на бумагу детали...

Странный, отличный от привычных стиль с глубоким проникновением в память. Анализ, анализ, анализ...

Но... вот что она сейчас написала?! Ах, что она написала! В подробностях, как привыкла писать, расписала... его нагое тело, как если бы действительно он танцевал и был обнажён в их танце! И не беда, что развязно, – порнография модна и пойдёт, но что-то мешало ей в этой подаче, в страстном рывке её фантазии... И вдруг осенило! Она поняла, что такие слова о нём здесь недопустимы. Она представила даже не то, как он это прочтёт, – само по себе такое могло его не смутить, а как о нём это прочтут другие, и поняла, что сделать это не сможет. Сквозь боль и желание не видеть написанное, она перечеркнула его. Крест-накрест, вот так... Это ей показалось мало: кто-нибудь может разглядеть. Она вымарала и разорвала страницы... Строк о нём, т а к и х её строк, НИКТО, НИКОГДА не узнает! Она их не выпустит из-под пера...

Она продолжала заметки, и ярко, красиво и образно играло волной Ионическое, вершился чарующий танец... Всё было, как в зале Сицилии, но Димы там будто не было. В нагом, непотребном изяществе кружились другие, не он...

...Сгущались сумерки за окном, так долго она писала. Дождь мелкий, чуть бредящий скукой, застыл в монотонном бреду, и только отдельные капли слегка ударяли в карниз... Она подошла к окну, смотрящему на угол гулких, но к вечеру стихших улиц, и долго в него

глядела... Картина была далека от жарких её писаний. От страсти, которая, как всегда, перекликалась в её строчках с трагедией.

БЛИЖЕ К ПОЛУНОЧИ

Услышав из гостиной их звонкий, причмокивающий поцелуй и – после дичайших возгласов – второй, Мережковский не поднял головы, дабы посмотреть в их сторону, и продолжал писать, как всегда чуть раскрыв рот, схватывая на лету мысль... Обычно он это делал в кабинете, но, боясь упустить наплывавшее, неуклюже примостился здесь, среди канделябров гостиной, и было неясно, откуда при нём оказались карандаш и бумага...

Он слышал и понял. Он видел и наблюдал. Флирт жены длился достаточно давно, и было по-человечески обидно, что он есть и длится, что она увлечена другим. Но по существу он его мало трогал. Он жил с ней уже девять лет, их брак был небесным, ОСВЯЩЁННЫМ. Он порой уже сам забывал, то ли она перед ним поставила условие, что жить как супруги они не будут, то ли он... Спустя девять лет это не имело значения.

Порою она влюблялась, как сейчас, и тогда отдалялась и чуждалась. В быту он был скучен, фанатичен, она видела его недостатки. Но... всегда оставалась при нём, как и он – при ней. Они были неразлучны, и он знал, что и т а м ничего у неё с ними нет; что при всём желании любви, всей внешней развязности она свята. А **святая плоть** – образ праведный, мы встречаем его в его книгах.

«Вот и будет пускай всё, как есть... – он достал и закурил сигару, хотя редко это делал в ночи, а обычно после обеда. – Она думает сейчас о другом? Они сами по себе, а я сам по себе?.. Ну, и пусть, – думал он. – Мы и так не расстанемся».

И что значит: она – с другим? Когда отсутствует интимная связь, это выглядит отдалимо и чёрство, всё в

тебе в этих чувствах немеет, всё касается как бы не тебя.

...Когда к полуночи она вышла в гостиную, Мережковский продолжал писать. Она зажгла три свечи в затемнённом углу, поправила ковёр и села у камина. Он кончил писать, отвлёкся и поднял голову. Она смотрела на него молча, пристально, но и он не отводил глаза, только взгляд был безвольным, усталым...

Она не собиралась скрывать, а он не собирался спрашивать.

Молчание собрало её, сконцентрировало волю. На ум пришли строки его давних стихов, и были они как нельзя кстати. Она тихо и не спеша произнесла:

Душа, полна стыда и страха,
Влачится в прахе и крови.
Очисти душу мне от праха,
Избавь, о Боже, от любви.

Это было стихотворение, которое он назвал «Проклятие любви». Она усмехнулась. Негромко, в отчаянье:

— Да, именно проклятие. И именно любви.

— Плохо, что он ушёл, — только и сказал Мережковский. Она поняла — это искренне: Дима нужен был и ему. В последние месяцы они близко сошлись, их взгляды во многом совпадали.

— Нужно б вернуть, — резюмировал он. И тонко, визгливо засмеялся.

Она задумалась. Дима был слабовольным, беспечным...

— Он пойдёт сейчас к Дягилеву, — процедила она. Ситуация становилась опасной.

ДЯГИЛЕВ

В доме, где родился журнал «Мир искусства», в длинной зале, куда Дима пришёл, в поздний час было пусто и тихо. Это был дом, где жил его кузен. Молодой и красивый, как Дима, только цельный и волевой. Одержимый в порывах, стремительный, не боявшийся риска в делах.

Звали этого господина Сергей Павлович Дягилев.

Слава Богу, о нём начинает знать мир! Только, Господи, начинается...

...А всего год назад, хорошо – пускай два, знал его этот мир? Кто его тогда знал? Кто в него тогда верил? Он терпел на себе отчуждённые взгляды товарищей, не ценивших, не принимавших его. «Что удивительного? – думал он. – Этот круг у них был и была своя близость, когда я прозябал в Перми, был несведущ, наивен». Он вошёл в их среду слишком поздно, и был слишком из далека. В их среду петербургской культуры, Петербургом рождённых манер.

Он от них отставал, а тщеславие отставать не давало. Впереди ему виделась слава, но какая же слава пока? И каким будет всё впереди, если круг гимназистов-ровесников, тот, кто может быть нужен сейчас, не воспринял тебя, отторгает, не ровня ты ему, не ровня...

Он страдал. Глубоко уязвлённое чувство продвигало его вперёд. Этот страстный порыв, о котором – Сергей Павлович был уверен – скоро уже, очень скоро, заговорит и напишет мир. Стремление состояться, доказать **им**, проявить себя громко и значимо, – всё, что было его побудительной силой, рождалось из мук унижения.

...Он нервно передёрнул плечами. Сейчас, когда он своей рьяной энергией, волевым и решительным даром побудил их взглянуть на себя по-иному; когда сломленный им их круг, пусть с трудом и не сразу привыкнув, подчинился и шёл за ним, благо сам ощущал в

нём потребность, воспоминания раздражали его. Как могло это быть, пусть на первых порах, чтобы в мире шедевров и блеска, в родном аристократическом доме он чувствовал себя униженно из-за них?

Так в раздумьях прошёл он вдоль залы, где по нарядным стенам вокруг были развешены картины, а бронзовый блеск статуэток рассказывал об античной поре.

— Парадокс! — произнёс Сергей Павлович вслух. — Парадокс...

Он остановился перед огромным трюмо. В зеркале отразился прямой, среднего роста, красивый, чуть полноватый мужчина двадцати шести лет, денди, с гордо поднятой головой и усмешкой слегка презрительных, толстоватых и сочных губ. Лоб чуть морщил он, а в глазах ощущалось, играя, превосходство.

Он с минуту глядел на себя, он любил это делать, и часто. И надменность его, и краса доставляли ему удовольствие.

И вдруг он заметил, что здесь не один. Ему показалось, что в кресле, стоящем в чуть тёмном углу, сидел кто-то... подавленный, в страдальческой позе. Лицо его было закрыто руками, но он узнал Диму, а Дима почувствовал, что рядом Сергей.

Они были близки, двоюродные братья, но то, что сейчас происходило у Димы, расстраивало и настораживало Сергея. Он не мог принимать его слабостей и безвольных уступок женщине, а тем паче ею была волевая и странная поэтесса.

Он с жалостью смотрел на Философова. С минуту они молчали...

— Она? — спросил он. Дима не ответил. Только руки чуть сдвинулись, открывая лицо.

— Я сказал, — усилил тон Дягилев, и слова прозвучали в приказном порядке. — Живи у меня!

Дима обнял стоящего за талию и ничего не ответил.

Тёмный угол и тишь возбуждали, и у Дягилева пропала охота говорить властным тоном. Он дотронулся до волос Философова – нежных, бархатных, и рука соскользнула на костюм. Он нагнулся и поцеловал Диму в шею. Кровь хлынула в голову, и уже трудно совладав с собой, прижал его сильно, развернул к себе и стал горячо целовать...

У ЗИНЫ

— Где он сейчас? – спрашивал Мережковский через день, два, четыре после того, как Дима исчез. Он время от времени отрывался от древностей и рассеянно смотрел по сторонам. Зинаида, страдая, молчала. Он вновь углублялся в Софокла, просматривая и правя перевод...

И что она хочет от Димы? Какой такой... близости? Но там и тогда, в Таормине, её потянуло к нему.

...Она не видела его в последующие дни, но подходила к владельцу виллы и расспрашивала, не заботясь о своей репутации, прося, чтобы тот говорил всё, что знает. Тот ухмылялся, говорил о нём мало, да и вообще мало говорил. А когда начинал, прикусывал язык. Рассматривал её молча, с интересом...

— Сколько он здесь пробудет?

— Месяц... а то и меньше.

— Где он бывает?

— О, даже так... – тот улыбнулся, задумался. – Ну, хорошо, мадам... Что-нибудь сделаю для вас.

...В беседах, разбросанных на спусках по тропам к морю, на пляже, умеренно жарком, и в павильоне владельца она говорила с ним, Димой Философовым, на русском и по-французски, о близком для них обоих – вере. И мало-помалу оказывалось, что здесь у них много общего – по взглядам, поискам, проникновению в суть. По складу ума они дополняли друг друга, ибо при всём своём ярком уме, при всей вдумчивости её ум – это выплеск, шторм, он был искромётным, тревожащим. А Фи-

лософов – это штиль, отлив, его кредо – спокойствие. Его ум был настоян на сборе и аккумуляции мыслей...

И внешне они подходили друг другу. Тот, кто их видел, мог бы сказать, что созданы они друг для друга. А он говорил с ней сдержанно. Не мало, но осмотрительно. Был осторожен, и она видела, что он присматривается к ней и как-то интуитивно сторонится. Что ж, вера была для Философова святая святых, куда и близким не дано вторгаться просто так. Но в их беседах-поисках, в исканиях троп к Богу увиделась стезя, пока ещё в тумане, что стать могла путём, единым для обоих. Ему ведь, как и ей, в мучительных раздумьях давно были тесны церковные каноны. И он, как и она, искал свои пути, своё, сквозь сердца боль, трактовок понимание... Их путь был долог, слеп, и каждый спотыкался, и каждый думал, что и как искать. И то, что сейчас говорила ему сия... странновато одетая, в брюках, вчера не знакомая с ним, молодая, настырная дама, побуждало его пуще прежнего думать и невольно, сквозь просев, принимать, и глядеть с потайным интересом. Но... кто она? Что? И – сквозь общность позиций: а нужна ли ему... как и все эти дамы?

Ну, в общем, глядел он опасливо, и после бесед и раздумий бродил по-над морем один, чуждаясь пока, обособливаясь, не очень спеша с ней встречаться.

Ничего не ушло от тончайшего взгляда – всё она понимала и чувствовала. Но... однако же пригласила его бывать у них: в квартире их в доме Мурузи в Петербурге идут интересные встречи, и, может быть, там удастся найти путь к разгадкам того, что его так волнует.

Нельзя сказать, что его потянуло к ней. Но была она любопытна для ищущего его ума.

— ...Так где он сейчас? — муж поднял глаза. Она вздрогнула, отрываясь от мыслей. Но через секунду он о нём позабыл. Ей было не до него, она промолчала.

А где он сейчас? Ясно, где. И с болью душевной она представляла покои в квартире Дягилева, и в бурной своей фантазии видела сцены с Димой, таким слабо-вольным, с которым тот мог делать всё, что хотел! Ей не были неприятны наклонности Димы, она хорошо знала их по себе, но было обидно, что он с ним, а не с ней.

...Муж помалкивал, не от мира сего, весь в античности, в древней Элладе. Порой взвизгивал и хлопал в ладоши. Она не отрывала его. Днями приедет баронесса: пишет, что намечает музыку и хочет с ним обсудить.

Музыку к переводу Софокла? Зина вчитывалась в язык трагедии в талантливом переводе мужа, смотрела в оригинал, задумывалась...

Стрессы личные, как сейчас, наслаивались на волнения творчества, но были неминуемы, как часть её жизни. Часть звонкой, нелёгкой, не будничной её литературной судьбы...

К ИСТОКАМ

...Письмоносец принёс открытку, где редактор писал, что стихи её приняты в номер. С этим стало давно уже глаже: принимали, хотя и не всё. Она подошла к своему любимому, глядющему на перекрёсток окну, и привычно, как утром всегда, глядела раздумчиво, долго...

...Сколько минуло вех с той поры, как возник для них Питер; как они обрелись в этой новой, пусть тесной квартире? Сколько смотрит на них — снизу вверх — угловая старинная площадь?..

Дмитрий, рано проснувшись, просматривал в своей комнате написанное, и, втягиваясь в работу, набрасывал,

перечёркивал, мыслил и долго ещё не выходил. Но он ей сейчас был не нужен. Она любила в рождение утра глядеть с высоты годов, задумываясь, и, глядя на мельтешащих, отчасти суетных прохожих, на пёстрые, ещё не шумные углы вливавшихся в площадь улиц, и, видя их и не видя, сквозь них прозревала другое, всплывавшее, дальнее, и что-то, подобно улыбке, играло на властных губах...

...С тех пор, как несмело, неопытно она приносила в редакции такие ещё мало зрелые, но ей дорогие стихи, прошло десять лет, а казалось – вся жизнь. Её появление было заметным. Гляделась она, как теперь – и вычурно, и горделиво. С гордо поднятой головой, неизменной лорнеткой и прямым и негнувшимся станом. Красота, неприступность во взгляде да ещё чужеродность фамилии – всё и всех останавливало, засекало на ней свои взоры, и рождались по ходу контакты, и она уже ведала их – сих, таких непохожих и разных, проявляющих к ней интерес. С их качаньем голов и раздумьями, с неизменным вослед: «Ну и ну...»

Отпрыск старинного немецкого рода, давно до неё обрусевшего, она несла в себе его четверть крови. Хранитель и продолжатель рода, любимый её отец скончался, когда она была девочкой, и Зина трагически переживала утрату. Она не получила стабильного образования, но именно потому, что отца часто переводили из города в город, где он служил, и семья кочевала. Может, там и тогда родилась её страсть к смене мест, путешествиям? В жалком, скучном, тоскливом Нежине, в малочисленном, тихом Крыму?

Теперь, много лет спустя, пред взором её мелькали привычные Ницца и Париж, и Гомбург, и Берлин, Сицилия и города России... Казалось, для её впечатлительной и на редкость ранимой души смена мест и картин даст восторг, и ликующий взор соберёт их в букет, как писал современный поэт. Южной Франции синее море с поднимающим, как на крыльях, вдохновеньем, и раздумчивый,

поутру тихий-тихий, увлекающий в даль берег Сены; дикий Терек в Тифлисе и курортный, весь в дачах, Боржом...

Только был ли ликующим взор Зинаиды Николаевны Гиппиус? И давал ли подъём, озаряя строку, уведя от копаний душевных?

Она долго, отчаянно долго болела. Всегда, сколько помнит себя. Бесконечно – ангины и насморк, и опасно дышащие лёгкие, подхватившие от отца туберкулёз. Какое уж ликование, когда ты больна.

Потом, по мере взросления и становления тела, рождалось её удивление, а с ним – боль душевная, недовольство, пока неосознанный протест против... себя! Её неликующий взор обнимал чарующие красоты Ялты, куда после смерти отца привезла её мать на кумыс – единственную надежду при чахотке, а позже, в самостоятельной жизни – похожий на Крым, но богаче в разы берег Ниццы и венец сицилийской красы – Таормину... Но подъём, зарождаясь мгновенно, отпускал, был каким-то сухим. И недуг изымал ликование. Боль души подавляла красу.

В детстве замкнутая, неразговорчивая, не похожая на других, она жила своей внутренней жизнью, стараясь утаивать переживания, держать их в себе. Но скрытно прислушивалась к шушуканьям одноклассниц в пору их созревания, где было (о, было же, дьявол его побери!) неясное что-то, странное, чем страстно и в страхе делились они меж собой, ну что-то такое... что стало у многих, а не было у неё... И дома, и в классах, гимназиях, которые часто меняла, никто ей о том не говорил, а доктор, к которому она тайно, чтоб даже мать не знала, обратилась, сказал... Что уж там говорить – растерзал, убивая надежду.

Она шла сквозь душевные муки, необузданный комплекс проблем, и стремление к людям, общительность, которые появились потом, рождались из замкнутости как внутренний протест, стремление уйти, вырваться, не быть там и той... Не думая, нехотя, подсознательно, пере-

растая из одной в другую, преодолевая себя, становилась она тем, кем есть, и что рождает сегодня в ней остервенение, превосходство, насмешку...

Ах ты, Боже мой, лишь вчера, ну недавно же это было, а вновь кажется, что прошла вся жизнь.

...Лечившаяся на водах в Боржоме, в тот дальний и памятный год, встретила она Мережковского, кто, в отличие от неё, был тогда уже созревшим поэтом. И наметилась, обозначилась судьба...

Ну, а складываться судьба началась, когда стали жить в Петербурге.

...Многое изменилось с той поры. Тех, первых в писательском мире знакомых, которым когда-то представлял её муж, и с которыми столько лет встречались они и дружили, почти уже не было на свете. Год, как скончался Аполлон Майков, впрочем тогда уже бывший стариком. Буквально днями, одним из последних, простился с жизнью Яков Полонский. Один Григорович доживал свой век, мало кого уже интересующий.

Но был и громадный, тревожащий души и задевающий власть, с клеймом отлучённый от церкви великий, могучий Толстой. Не всё принимала в нём Гиппиус, не всё принимал её муж. И всё недосуг было встретиться, отважиться ехать к нему. Но знали они и надеялись, что встреча ещё впереди...

И где-то, не близкий их взглядам, их душам, их жизням, со всей новизной его прозы творил Максим Горький...

А рядом, вплотную – Бугаев, Бальмонт и – в Бога и в чёрта не верящий – Брюсов...

Орущее, странное время,
Чудные его племена...

...О, странный и муторный мир декаданса – явь её юных лет! В тех, близких и дальних по духу восьмиде-

сятых – заблудших, незрячих, но ищущих, – годах меланхолии и разброда умов, она, с её нравом и волей, с горячным поиском своих путей, выделилась, замечилась сразу своей непохожестью на других, страдая в своих противоречиях и путаясь во всём, что искала.

О, страшный, прогрызший всю душу порок с латинским звучанием – э г о ! Со всей юной силой вбиравший черты этих каверзных лет и с силой не меньшей борясь и от них отчуждаясь, зиявший на общем пространстве отдельным своим островком... Тогда и уж, видно, навечно засел он в душевных глубинах, на части её разрывававший, казнивший невидимым дух!

О, мир декадана! Позор и проклятие! Уход, даже бегство... от кого и чего?! Со всех страниц, в каждой пламенной строчке кляла она то, что жило в ней самой, и что она с такой силой олицетворяла! Тот мир, потерявший надежду, с его апогеем безверия.

...Позади были повести, рассказы, романы. Была итоговая книга стихов. Правда, чаще это были романы, суть которых она не помнила сама, так как гнала их ради денег, когда трудно было выживать. И стихи, пусть итоговой книги, так ли всем уже были хороши? Сколько, Господи, слышит их автор и критических замечаний, и брани... О, «насмешница», «декадентская ведьма» – пусть зовут её так за глаза! Сколько в прессе всего обидного, если всё близко к сердцу принимать.

Но она... ох, и крепкий орешек, уж не промах бывает и сама. Погодите, придёт ещё время, дать бы в руки нам свой журнал...

Строй мыслей её, если всё сложить, если приложить усилия, разбираясь в конгломерате поиска, – это стремление вычленить свой путь, проложить свои тропы к Господу, пусть отличные даже от других. Всё узреть и понять для себя, но не с материалистических, а с религиозных позиций. В нём было и судорожное, нервическое, идущее от пожизненной трагедии, и элементы глубинного под-

хода. Но и они – её болезненное, а потому от всех отличное, порой тончайшее, порой ошибочное распознавание чужой души...

О, жизнь, сумбур и стремления, горячий поиск и тупик.

Она давно в поиске.

Ей – двадцать девять.

Шёл тысяча восемьсот девяносто восьмой год...



РАССКАЗЫ

ГЛАЗАМИ МАРЬИ ПАВЛОВНЫ

День 15 июля

1

Встала она в своей комнате рано. Впрочем, так она вставала всегда. Как никогда, была собранной и ответственной за каждое слово, что произнесёт в этот день. Чётко помнила всё, что должна сделать, стараясь не замечать, как усталость, что давно не покидала её, выползает, гнетёт из глубин, усаживает предательски в кресло... Не удивительно, но тяжело, и совсем не замечать не получится. Марье Павловне шёл девяностый...

Она глянула на набросок портрета, где черты её были выписаны с любовью, и в деталях которого можно было прочесть трепетное отношение художника. Так было. Так живёт это в ней с давних лет. Только тот, кто вручил ей на память сей неброский эскиз, зарисовку... о, великий на все времена... что имел он в виду в ней увидеть, как тянулся он к ней, не красавице, самой скромной, быть может, из девушек, после всех своих бурных романов?

В страшной дали всё это сейчас. В другой жизни. В далёком столетии...

Худошавая, в зыбком халате, вся в пучках застарелых морщин, Марья Павловна Чехова села, продолжая глядеть на эскиз... С болью? Нет, боль давно растворилась, только память пронзила острей...

Эх, да что говорить, годы, годы, как у Фирса в «Вишнёвом саду»...

— Как житьё, Марья Павловна, Марьюшка? — обратился к ней дворник вчера. И застряло в ушах, и понравилось, хоть не Марья она, а Мария. По-простому вот так, по-отечески, как полвека назад, средь крестьян... Вроде мелочь, а сердцу приятно, болевой стариковской душе...

Слишком много всего позади, и сегодняшний день столько значит.

2

Очень рано раздался звонок. Она вздрогнула, не ожидала. Потянулась к столу, сняла трубку.

— Виноват, уж простите меня. Но, надеюсь, не поднял с постели?

— Ну, да что вы, Евгений Ефимович. Вы же знаете, я встаю рано.

— Я тревожусь за вас. Те слова в предстоящем с трибуны...

— Я спокойна, Евгений Ефимович.

— Может... всё же, не нужно?

— Нет, я всё им скажу! Их вина... — она смолкла, на миг задыхаясь, словно воздуха ей не хватило.

— Через что мы прошли... только что... так недавно...

— Ну, да я и тогда... вы же знаете.

— Знаю! — твёрдо ответила трубка. — Ну, простите меня. — И... гудки.

Она долго держала в руке запотевшую тонкую трубку... «Он волнуется. Честный, порядочный, с вечной болью от ран на войне... Не волнуйтесь, Евгений Поповкин. Вы же знаете: я скажу».

Хорошо, что она отвлеклась. Сколько надо успеть за сегодня...

Она вышла. Прошла мимо комнаты Книппер. Ольга, видно, ещё спала. Было тихо и пусто у лестницы и на трёх небольших этажах... Да и кто мог прийти в это время? Она встала, задумчиво глядя на дверь комнаты Ольги, озирая в уме Дом-музей... Они с ней тут живут с незапамятных пор. Они с ней доживают тут жизнь. Книппер всё же летает в Москву, по неделям бывает в Гурзуфе, а она тут безвыездно – страж, хранитель музея. Основатель его с давних лет и бессменный все годы директор.

...Всё здесь было таким, как сейчас, в неизменности ею хранимым. Но у каждой была своя молодость. Ольга, та на пять лет помоложе, а и той уже восемьдесят пять. Только статна-то как, величава, будто нет её старческих лет...

Марья Павловна горько вздохнула, озирая обеих в уме. Преклоняясь пред гордым талантом, твёрдой поступью той на стезе... Ах, какой та была, Ольга Книппер, так увлёкшая брата собой! Та *Аркадина*, *Маша*, *Ирина* и *Раневская* в позднем саду...

Ранний час. Тускло вато на лестнице. Стынет утро в заветной тиши. И стоит здесь без слов Марья Павловна, не уходит пред мощным былым... В нём и то, чего нет в экспозициях, и читатель нигде не найдёт. То, что слышит она лишь от Ольги в откровениях редких минут...

Как, к примеру, смотрел Станиславский, проходя от них метрах в пяти. Застывал на минуту с участием, ничего им не говоря, словно тёплой и мудрой улыбкой прозревал их возможный союз...

Брату жизненно повезло, – полагает в уме Марья Павловна, – что, как если б к нему обращённый, для него этот театр возник. Что взошёл на пути Станиславский, с глубиной, не сравнимой ни с кем. Ведь специфи-

ка пьес её брата такова, что, возникни другой, он бы мог не проняться глубинно, не понять, отстранить, обойти. И по-прежнему пьесы Антона принимала бы пресса в штыки... Алексеев, то бишь Станиславский, и увиденный им молодняк (может, в первую очередь Ольга!) своим гением вынесли пьесы на крутой и стремительный верх. Показали другим их возможности, преподали грядущим урок.

...Зябко, хмуρο на лестнице лет... Она смотрит на дверь Ольги Книппер, а под ложечкой словно комок. Нет, лета позабыть, о них лучше не думать.

И очнулась от них Марья Павловна. И спустилась в сегодняшний день.

4

Да, дожили они, чтобы встретить день сегодняшний. Значимый день.

Надо б снова прочесть выступление, что-то вымарать, что-то ввести... Нет, успеет, сейчас шесть утра, а поедут отсюда в четырнадцать. И, как автор, кого напечатал популярный в столице журнал, бесконечно к нему возвращается и читает своё вновь и вновь, так сейчас захотела она вновь пройти по всем памятным комнатам, и пронять себя тем, что даётся для пытливых умов посетителей. Тех, кто любит читать её брата, для кого с детских лет он кумир. Это были её экспонаты. То есть те, что она здесь хранит. И бесщётно их видела, и готовила их для обзора, не умом проникаясь, а сердцем в каждый трепетный свой экспонат...

Вот совсем небольшой зал на первом. Брат с актрисой, что приехала к ним вместе с труппой лишь недавно взошедшего театра с непривычным на слух: МХТ. Да, актрисой... ещё не женой, так неожиданно возникшей в их доме.

Марья Павловна помнит, как та поначалу застенчиво спрашивала о деталях, касавшихся быта, заходя на все три

этажа и знакомясь, и скромно осваиваясь. Так что после триумфа в их «Чайке» Ольгу было почти не узнать...

Вот они за границей, в Германии: Баденвейлер. Последние дни...

...А вот юная Маша с семьёй: она видит себя в окружении пяти братьев – старших и младшего, и среди них лишь одна она, барышня.

...И опять, и опять – Левитан! Замечания ей, наставления... Вот же был и Серов, и Коровин, и по-своему каждый учил. Только ближе ей был Исаак, мир ухода во глубь перспективы. Этот скромный мазок, эта тень на неброской его зарисовке. Этот пыл, этот страстный подход ко всему, что касается кисти. И... о, бог ты мой, только ли кисть привлекала её к Левитану?

...Не познала она, не заметила, как прошла по всем комнатам дома, и теперь лишь очнулась и достала часы. Было семь, прошёл час её памяти... Всеобъемлющий, праздничный час.

5

Да, сегодня... сегодня открытие. Первый памятник брату в стране! И писатель Евгений Поповкин прилетел для того из Москвы. Тоже выступят, скажут о брате представители крымских элит.

Только памятник скрыт, с ним родню не знакомят. Благо, опытный скульптор, известный, Мотовилова знают в стране. Он ей раз или два позвонил. Уточняя, о чём-то расспрашивал, но работу свою не открыл. Лишь сказал: «Чехов в парке, над морем. Вид задумчив, сидит на скамье». Ну, а если там что-то не так? Если что-то упущено – поздно.

И потом... монумент! В их советской традиции. Власти, душу сковавшей и пыл. А не так, чтоб – свободный сюжет. Чтобы больше простора для мысли...

Только больше всего её гложет (а казалось бы, надо лишь радоваться), что на сорок девятом году после смер-

ти – наконец! – первый памятник брату. Что откроют его, то отрадно. А вот то, что дошло, что хватились лишь на сорок девятом году...

Пятый месяц, как нет наверху их вождя и учителя Сталина. А куда этот гений глядел, почему не додумались раньше?

Недовольна она, Марья Павловна, и с трибуны готова сказать.

6

Она вынула речь, прочитала, покачала опять головой. Поднялась энергично на третий, позабыв, сколько стукнуло лет. Села в кресло, взяла карандаш...

«...полстолетия со дня смерти классика, а хватились-то только теперь! В театрах смотрим и в школах проходим... Срам, что памятник – первый в стране!»

Призадумалась тут Марья Павловна, опустила крутой карандаш. «Так нельзя. Надо мягче, здесь слишком... Хотя я никого не боюсь».

В самом деле, от корки до корки – двадцать девять годов при вожде! Здесь, по верху былой деревеньки, тихой Ялты в приморской глуши, были тоже свой тридцать седьмой и чуть менее грозные годы. Каждый день и в любую минуту можно было всего ожидать. Но при нём сохранённое ею воплотилось с годами в музей. Начинала давно, но не строила, а хранила такое, как есть. Сохранила, ещё приумножила, миллионы тянулись сюда...

А потом оглушила война. Немцы рвались к манящему Крыму, и грозило утратить реликвии, потерять Дом-музей. Но осталась она, не уехала, и хранила музей и при них.

Впрочем, немцы у них не неистовствовали, не вели себя так, как везде. Клин разграбили; в комнатах Ясной Поляны оккупанты устроили хлев. Только в ялтинском Доме-музее не громили они ничего.

Как могло это быть?! Почему так всё время: что-то знали, видать, а не трогали, лишь косились слегка на музей?

Марья Павловна знала причину. Но не дай бог об этом – при Сталине!

Сберегла, сохранила потомкам.

Подвиг был.

...Отвлеклась от тех давешних мыслей. Нет, сегодня они ни к чему. Вновь, в волнении, к тексту вернулась, просмотрела ещё и ещё...

7

Ровно в девять пришла Алла Ханило. Так приходит она каждый день, аккуратная до педантичности и буквально влюблённая в труд. Алле только ещё двадцать три. Принимала её на работу Марья Павловна в сорок шестом. Алле было тогда восемнадцать, и прошло-то лет семь, а как выросла, как закрепились... Из несведущей девочки, вряд ли знающей Чехова, превратилась в его знатока. Марья Павловна с нею на равных, хотя той далеко до неё.

— Всё готово, я только оттуда, – произносит взволнованно Алла. – Подкатили и ставят трибуну. Мону-мент зачехлён, не видать.

— О-о! – смогла лишь вздохнуть Марья Павловна. И склонилась в слезах, обняла. «Что же делать... Видать, так положено, пусть для нас это будет сюрприз». А вот место должно быть удачное. Место выбрано было не зря. В тишине и покое, над морем, куда он приезжал, где подолгу сидел и обдумывал, чтоб потом, на письме, воплотить. Так, возможно, рождались в том месте, в полукружье деревьев, цветов, темы пьес и сюжеты рассказов: и «В овраге», и «Дама с собачкой»; «Три сестры» и ещё, и ещё...

Вышла Книппер. Прошла горделиво, чуть с улыбкой отвесив поклон. Поглядела ей вслед Марья Павловна, усмехнулась:

— Вот так по утрам.

Ну, не диво: в ближайших контактах они были и будут близки. Ведь коли все года просуммировать, что с тех пор они тут, и вдвоём...

Словно не было этих пятидесяти, так нелёгких, насыщенных лет, увидала её Марья Павловна в Ялте дней их тогда молодых...

— МХАТ приехал. Начало столетия... То есть был МХТ, а не МХАТ... Ялта ранняя, тихая-тихая... Приготовились всех размещать. Только Книппер, глядят, нет на месте. Обыскались — нигде её нет. Я-то знала одна: там, на третьем... — покосилась с усмешкой наверх. — Он с утра её встретил с цветами. Знал, что Ольга приедет сюда...

Так стоят, как стояли, обнявшись. Алла слушает, рот приоткрыв...

8

Много дум в этот день, наваждение... Вновь о том, что тогда, в дни войны... Вспоминала жену Михаила, кто племянником Чехову был. Ольгу Чехову, тоже актрису. Ту, кто в давние годы уехала и в Германии стала звездой. Привечал её сам Адольф Гитлер, шёл навстречу, порой угождал.

Так вот, Ольга просила кого-то из наивысших нацистских кругов, чтоб музею в Крыму не вредили, и сам фюрер согласие дал.

Ну, так можно ли было — при Сталине?! Связь оборвана с ней навсегда.

Лишь теперь, после смерти тирана, через восемь лет после войны, стали робкие слухи сочиться, что ведь было действительно так. Даже больше: что Ольга — разведчица! А тем более связи с ней нет.

...В десять ждут журналистов из центра. В прессе будет премного похвал. Но сначала – вопросы-ответы... Надо собранной быть, начеку.

А приехали двое. Молодой и постарше. Тот, кто старше – казённая пресса, и вопросы избитые, общие. Этот – пресса, скорей, молодёжная – пылок, в душу глядит... И, когда исчерпали событие, всё, с чем связан сегодняшний день, молодой заглянул ей в глаза, не сказал, а проник в её память:

— Расскажите-ка нам, Марья Павловна, что-то вам предлагал Левитан?

Марья Павловна смотрит в пространство, словно в нём утаился ответ.

— Ну, наивной была и неопытной. Он был старше меня, что же тут... – И, ещё поразмыслив, вздохнула. – Так чертовски красив... гениален. Я порою по часу смотрела на любой его малый эскиз...

Понимает она, Марья Павловна, чего ждёт молодёжная пресса.

— В общем, так. Когда сделал он мне предложение, красной краской я вся залилась. Убежала, его не дослушала... Долго с ним не встречалась потом.

Журналист посмотрел, призадумался... Кто не знает судьбу Марьи Павловны: отказала и... так и осталась. И всю жизнь одна. Вот и задал он редкий вопрос. Не вполне деликатный, конечно:

— Вы жалели потом о... наивности? Что фактически дали отказ?

— Вы... о чём? – встрепенулась от мыслей. Молча, трепетно в даль поглядела, ничего на вопрос не ответила. Лишь вздохнула, сказав:

— Дальше спрашивайте.

А потом журналисты уехали. Порасстроил её молодой...
Вот опять, величава, навстречу – Ольга Книппер.
Ну, тоже судьба...

«Кто мы есть в этой прожитой жизни, две старухи, две боли былой?» – грустно, горько прорезалась память, отдалила на миг от забот...

Лишь она, Марья Павловна, знает всё, что с Ольгой случилось тогда. Брат не знал: ни к чему ему это. А история та такова.

Всё бывало у Ольги с Антоном. Дважды ждали детей, не сложилось. Первый – выкидыш был. А вот дальше... Сотни писем шли тёплых друг другу: Книппер – Чехову; Чехов – в ответ. И ведь так и не знал Антон Павлович, что ребёнок мог быть... не его!

Но сам бог наказал, не позволил: выступая тогда в Петербурге, провалилась в сценический люк. И поведал ей лекарь печальное: что не будет уж больше детей.

Эх ты, жизнь...

Две разные судьбы.

Счастье с горем идут наравне.

11

Что сейчас, той девятый десяток, путь громадный с тех пор позади...

Книппер долго блистала во МХАТе, лишь недавно ушла на покой. Был ещё драматург, с кем сходилась и какое-то время жила. Тот её был намного моложе. Видно, славой её был прельщён.

Усмехнулась словам Марья Павловна: после Чехова... был драматург.

А то как же ещё. Так и надо. Ведь у Ольги всегда кто-то был...

Грустно, тяжело на старческом сердце, да о чём же теперь говорить.

Быстро вынула текст выступления. О, тем паче нас-
трой её твёрд. Ничего не менять, так оставить! Разве
что деликатнее тон...

...Незаметно прошло одиночество в плане личном,
интимном, своём... Вся всегда – в нескончаемом деле, с
двадцать первого года – музей. То есть то, что она сох-
ранила, основалось, открылось для всех.

Марья Павловна грустна? С минуту. Жизнь вся, до
конца, удалась. Вся, ушедшая в память о брате, посвя-
щённая только ему...

12

А ещё здесь сложился обычай: выйти к публике, мол-
ча стоять. Пусть их видят. Пусть вспомнят Антона, пусть
о книгах его говорят...

И, хоть очень они устали, и Ольга себя плохо чув-
ствовала, решено было не нарушать традиции, тем более
в такой день. Ольга пошла готовиться к выходу, как если
бы это был выход в театре, где нужно выйти в любом со-
стоянии, как бы плохо себя ни чувствовала. И был он для
неё не менее важен, чем в театре. А Марья Павловна, хотя
была старше на пять лет, была к нему сразу готова. Экс-
курсантов просили не расходиться после осмотра, а вый-
дя из дома, стать у крылечка, куда спустятся к ним сестра
и вдова писателя.

...И тут следует авторское отступление. Среди экс-
курсантов в тот день, шестьдесят шесть лет назад, 15
июля 1953 года, был автор этих строк. И было ему, то
есть мне, тринадцать лет. А маме, с которой я приехал,
точнее, она приехала со мной, теперь давно покойной
маме – всего лишь сорок два. Я знал ещё Чехова до-
вольно поверхностно и вряд ли смотрел его в театрах.
А мама знала его глубоко, и могла бы на спор, по любым
пяти строчкам, сказать наверняка, откуда это. И оба мы
с трепетом ждали той встречи с сестрой и вдовой Анто-
на Павловича...

О, это была ещё старая Ялта, по которой, как по двору санатория, ходили в пижамах и халатах. В тиши по утрам её набережной, в глубинном, сокрытом покое казалось, живёт ещё дух Ялты чеховской. Неуловимый, священный, он был в сохранённой культуре и в том, что живут среди нас сестра и вдова писателя...

Мы ждали их около часа у бокового крыльца. К нам вышла сотрудница: юная, скромная (казалось, ей было неловко, что все мы без устали ждём). Словно оправдываясь, она объяснила:

— Ждём, пока спустится с третьего этажа Ольга Леонардовна Книппер...

Она вышла степенно и гордо. На редкость прямая, высокая, в белом платье до пят. Живая вдова Антона Павловича! И в простеньком, скромном рядом с ней – сестра его Марья Павловна. Они стали пред нами без слов. И стояли пятнадцать минут.

Я был перед ними в ближайшем ряду, если то, что образовалось, можно назвать рядами. Меня отделяли от Чеховых каких-то полметра, и я неотрывно и жадно смотрел, фиксируя в памяти кадры... Я – мальчик, кто мог пронести эту память ещё на полвека вперёд, и было понятно и лестно, когда я ловил на себе и их любопытные взгляды. Так, помню внимательный взор Ольги Книппер, на несколько ценных мгновений задержанный мыслью на мне...

Я понимал, что когда-нибудь это отдалится. Придут новые поколения, и я буду среди них – единственный, кто застал этот день и успел это видеть.

Впереди была целая жизнь...

...А в три часа дня, на трибуне над морем, они обе стояли уставшие, но бесконечно счастливые. И, несмотря на все трудности дня, мужество их прозвучало! Власти услышали смелый укор в слишком уж позднем прозрении...

Сбросили брезент: достойный памятник! Но... бог ты мой, что это: на Чехове были огромные, довольно безвкусные ботинки, какие писатель никогда не носил, а был утончённым эстетом, и туфли на нём всегда были изящные, с ему лишь присущим подходом! Они посмотрели, одна на другую, с морозцем, прошедшим по коже...

Но то, что Антон с характерной улыбкой, задумчив, сидит на скамейке над морем – правдиво и тонко уловлено, и поза его характерна. И это в одном из тех мест, которые он так любил...

И души их вновь потеплели, и сам по себе этот факт не мог не обрадовать каждую, глядящую немо и долго на столь долгожданный сюрприз...

Так стояли они вдвоём, словно не было других рядом. Снова с братом и мужем, в одном из любимых им мест.

А потом всё слилось в один праздничный миг, воплотилось триумфом их жизней. Тут и крымские власти, и пресса, и Поповкин, и Алла Ханило, ну а с ней и весь маленький штат. Все шумели, все их поздравляли, всё крутилось сплошным колесом...

Гость московский, писатель Евгений Поповкин, как всегда, сквозь гнетущую боль от далёких ранений на фронте, раскупоривал и разливал из бутылок в стаканы «Шампанское», и забегала, всем помогая, почти юная Алла Ханило, и рискнули слегка пригубить престарелые родичи Чехова...

День последний такой.

Таких больше не будет.

...Следующий раз я переступил порог дома Чехова спустя более полувека, в двухтысячных.

Ялту было совсем не узнать: сокровенной тиши больше не было. Вдоль моря носились на самокатах подростки, громыхал аттракцион в начале набережной. Стуки детских машин друг о друга, лязг, удары «столба» по земле разрушали, губя окончательно, весь её исторический лик. Казалось, цель нового поколения – удивить отдыхающих шумом. А на круглом, «крутом» павильоне, зазывающем внутрь гостей, – чудо-надпись огромными буквами о насущном и близком: ЕДА.

Той, моей, прежней Ялты в первозданных чертах больше не было.

Я поехал в музей, белый чеховский домик. Здесь как будто бы всё, как тогда...

Я спросил:

— Есть ли кто-то из старых сотрудников, кто застал Марию Павловну Чехову?

— Кто вы? – взглянули на меня с интересом.

— Писатель и журналист. Из Москвы.

— Идёмте.

Мы вошли в кабинет заведующей отделом экспозиции.

— Познакомьтесь.

Пожилая, но бодрая женщина поднялась, подала мне руку:

— Алла Ханило.

(Господи, неужели та самая?!) Я многое о ней знал, но не мог полагать, что застану.

— Сколько вы уже здесь, Алла Васильевна?

— Шестьдесят один год.

Вспоминаем тот день, первый памятник Чехову.

— Это я к вам вышла, – улыбается Алла Васильевна. — Это я вам сказала, что ждём, когда спустится с

третьего Книппер... Марья Павловна умерла в пятьдесят шестом, первой. Через пару лет – Ольга Книппер...

Мир заветного прошлого, память дней дорогих уже полностью ею владеют, и она добавляет детали к моим знаниям этого дня...

— Идёмте. Я проведу вас к крыльцу, у которого вы стояли.

Мы идём мимо юных сотрудниц. И она объясняет им:

— Этот человек застал и помнит Марью Павловну и Ольгу Леонардовну.

— Ах! – вырвалось у них. И такое в глазах удивление, словно она сказала: «Это Чехов!»

— Вот это крыльцо, – произносит Алла Васильевна. И я застываю на несколько минут, весь – память дня пятнадцатого июля. И в полуметре всего от меня, в простеньком платье – Марья Павловна. И Ольга Леонардовна Книппер-Чехова пристально смотрит мне в глаза...



ДАВНЯЯ БОЛЬ

Быль

1

— Всю жизнь я помню эту историю с горящим над Ялтой лесом, — рассказывал Иосиф, мой новый знакомый по городскому пляжу. — Помню как символ тридцатое августа, хотя, изучая потом материалы, я видел другую дату.

Он усмехнулся, задумался и покачал головой. Казалось, собрался рассказывать какую-то длинную историю, и рассказ, по лицу его судя, обещал быть тяжёлым. Но сейчас, здесь, над морем, в небольшом ресторанчике, мне не очень это хотелось.

Но с ним интересно. Он старше меня на двенадцать лет и помнит довоенную Ялту. Я из Москвы, он из Ровно. Дней десять, как мы познакомились и стали гулять по вечерам, и сам я его пытался расспросить.

— Лет сорок прошло... — он очнулся от мыслей, и видно, как значима для него та история. — Всю жизнь я помню соседа, с которым из года в год снимал комнату, — он показал вниз, на берег, — у самого входа на пляж. Когда бы я ни приехал, он в ней уже жил, причём заезжал ещё в мае, а уезжал в сентябре.

Звался он Варлам Шотович Гридзе. Жил, как мне рассказал, — в Тбилиси, этом «празднике солнца и зву-

ка, исторических притч и былин». У каждого из нас была койка. Общим был туалет, узкий, метр на метр, в коридоре, близ входа в комнату. Но было удобно из-за близости к морю и невероятно легко на душе...

Рассказчик замолк, но я видел взволнованность даже в словах о лёгкости души, и этот контраст рождал неясную внутреннюю смуту. Я сразу запомнил: Варлам Шотович Гридзе. В рассказах меняют фамилию героя, а я оставляю её подлинной, как и имя его и отчество. И, хоть минуло сорок лет, может, те, кого это касается, что-то вспомнят об этом человеке.

— Он был жизнерадостен, весел, поверхностен, — продолжил рассказ Иосиф. — С типичными интонациями и грузинским акцентом. Средний лоб, голубые глаза, как бы бегающие в игре его слов и с лёгкостью их догоняющие. В общем, статен, красив, но вот что-то мешало признать в нём грузина. Уж скорее американца штата Мен или Оклахома. Притом он постоянно приводил в пример США («Всё у них лучше, чем у нас»). А год был семьдесят второй. Застойный, брежневский. И такие слова открыто редко кто произносил.

Но было порой и другое. Как будто какая-то дума, далёкая, уносящая его, на миг застывала на чуждом, «ненашенском» лице. Как если бы жил он в различных мирах — беспечном и радостном нашем, с весёлыми байками — каждый о своём, игрой в легковесные шахматы, где на партию — пять минут у каждого, и чем-то... неожиданно серьёзным, а может быть, даже тревожным.

Увы, его паспорт, возвращённый хозяйкой, лежал близ меня, на тумбочке, и я мог убедиться в тбилисской прописке, притом в самом центре: проспект Руставели.

Он никогда не купался в море, хоть жил на жаре всё лето. Всегда был в костюме при галстукe, и, когда падала жара, фланировал не спеша по набережной...

«Кто он?» — проносилось в моей голове. — Что он тут делает? Можно не плавать в море, но в Ялту приезжают

на отдых. Об отдыхе здесь говорят, склоняют на все лады, а сосед мой ни разу не вспомнил. Для чего он здесь?

Заподозрил ли я его в чём-то? Нет, причины могли быть различными. Только мысль мелькнула, что он... кто-то не тот, за кого себя выдаёт. Закрепилась, осталась во мне. Был глубинный настрой уловить подтверждение мысли, и глаза мои, уши и мозг – каждый орган и каждая клетка – стали чуткой мембраной: я ждал.

А я ведь юрист и сын следователя. И книги, закрытые от большинства, о тонкостях тайн расследований, лежали у нас в моём детстве, и я с ними был знаком.

Но отдых есть отдых. Усталый, сонливый, я приходил после пляжа поспать, но он брал доску и фигуры, со смехом и новыми байками меня призывая к игре. И я, уморённый жарой, безвольно садился, играя под байки родной ему Грузии, её поговорки, пословицы, хотя и с трудом их улавливал при быстроте его речи:

— «Гость хорош сдержанный, а хозяин щедрый». Грузин любит гостя, вай-вай, ничто для него не жалеет. А к ночи ведёт его к дочке и стелет им вместе постель! Но если назавтра она говорит, что гость приставал, добивался, хозяин его убивает. Ха-ха! – Варлам Шотович торжествует. В глазах гордость: такие мы!

— Но где же тут логика, – я возражал. – Зачем он кладёт его к дочке? А как это можно ещё понимать, как не роскошный подарок?

Но Шотович громко смеялся:

— Такой вот обычай у нас.

— Плохой, стало быть. Нелогичный, – сказал я и пожалел, ждал обиды. Но он не обиделся, а повторил:

— Обычай такой у грузин. – И хитровато поморщился и покачал головой, так что могло показаться, что сам осуждает грузин.

2

В полдень стояли мы возле дома, у парапета на на-

бережной. Дождя давно не было, палила жара. Варлам смотрел вверх, на горы, где лес полыхал в сплошном пламени.

— Кто ж его так? — поразился он и покачал головой.
— Горит пятый день...

— Вы считали? — невольно улыбнулся я. — Откуда вы знаете: пятый?

Он глянул задумчиво и произнёс:

— Из газет.

Мы прогулялись по набережной, и я усомнился в поджоге:

— Лес мог загореться и сам. В такую жару...

Возможно, что мне показалось, но губы его растворились в едва уловимой усмешке.

— Кому и зачем это нужно? — не унимался я.

— Мсть... — произнёс он не сразу. Взглянул на далёкие горы и задержал на них взгляд... Теперь он уже не смеялся, а стал неожиданно хмур, и я подумал, что вижу его таким впервые.

— Когда-то изгнали из Крыма всех, живших в нём, крымских татар... — Он сузил глаза ещё больше, и что-то исконное, давнее проснулось, всплыло из глубин. — В товарных вагонах, как скот, везли их без света, без воздуха неделю, а может быть, больше, в глухую, безводную даль...

Я слушал его и дивился, что речь его стала другой. От лёгкой, с грузинским акцентом, неправильной, скорой, простой в ней не было больше ни звука, и сам он гляделся другим.

— С тех пор они мстят. Каждый год, в день начала над Крымом пылают леса... Как только уже ни искали того или тех, кто их так... За пять дней, за десять, за двадцать оцеплен бывает весь лес. Бессчётно ментов и овчарок, а лес в день начала горит.

— Когда ж это было... начало?

— Давно... В сорок пятом году. — И он назвал точную

дату, когда поджигается лес. Она была... пять дней назад.

3

На следующий день, за игрой, мы поспорили о населении Крыма. Сколько здесь русских, украинцев и сколько народов других. Он вновь говорил под грузина, смеялся, вставлял анекдоты и даже невольно, нечаянно вдруг – несколько фраз по-грузински. Я тоже был прежним, играя с ним в шахматы, смеялся, валял дурака. Но внутренне был, как пружина, настроен на слух, напряжён. Ещё не имея улики, бесспорных, прямых доказательств, догадка моя облекалась в неясную, зыбкую плоть. Нюансы, одни лишь нюансы... И всё же не только они. Вчерашние фразы Варлама, его откровенность со мной, и тон разговора о мести, и сам негрузинский акцент лишали покоя, терзали потребностью что-то понять...

Так кто же он, если не тот, за кого себя выдаёт? В мозгу это было не фразой – моим неотступным вниманием. Подспудным, немим ощущением, не знавшим для этого слов.

— Русских в Крыму полтора миллиона, – подвёл я итог. – Украинцев – пятьсот тысяч. Молдаван...

— Мы, татары... – вырвалось у него. Он смолк и смотрел напряжённо: дошли ли слова до меня? Но я уловил. И всплыла, засветилась ухмылка при взгляде Варлама на лес. В ушах зазвучало: «Горит пятый день...» И краткое, будто сквозь рану, как выстрел гремящее: «Месть!»

Так вот его подлинный лик, его кровь! Та, что выграла невольно, вырвалась словно из жил...

Я понимал, что не должен был слышать, паузы быть не должно. И заключил, как ни в чём не бывало:

— Русских здесь больше других.

— С этим не спорят, – сказал он спокойно. Мы обменялись двумя-тремя фразами и завершили наш спор. Я на доске передвинул фигуру, вяло заметил:

— Ваш ход...

Ночью я спал беспокойно. Всё могло быть: я не должен был знать то, что слышал.

Я был лишним.

4

Встал я очень рано, но так я вставал каждый день и уходил на пляж. Пока просыпался мой сосед, я успевал поплавать и вернуться. Но сейчас я прошёл в центр набережной, где когда-то был памятник Сталину, и откуда с тех пор хорошо виден лес. Картина была ужасающей для тех, кто её понимал. На всём протяжении взгляда, вдоль верха холма Дарсан и до уходящих на западе гор в сторону Симеиза, окутаны чёрными клубами дыма, над Ялтой горели леса...

И снова, но только понятней, в душе протревожило: «Месть!»

На память пришли детективы с разведчиком и диверсантом, который творил свои подвиги, неузнанный и теневой. Но там была школа, а тут её не было: разведчик не мог себя выдать в случайной беседе, легко. Я понял: его не готовили. А может, и не засылали. В том смысле, что он – одиночка, отважившийся на месть. Возможно, он в детстве жил в Грузии, знакомый с её языком, владея поверхностным знанием обычаев этой страны... Он – крымский татарин, а по документам грузин!

Но ведь он не похож и на крымских татар, коих в разные годы я видел на громадных просторах Союза. Впрочем, знания мои в этой области были скудными, всё смешалось с течением лет, и сейчас представлялись мне скулы и монгольский этнический тип. Это нация местная, крымская (ради бога, не путать с татарами!)

Я пошёл вместо пляжа в читальню и просил дать мне всё о крымских татарах. Там узнал, что они происходят от половцев. И ещё – о трёх ветвях, отличающих их друг от друга настолько, что могут восприниматься как люди разных народов. Южнобережцы, например, «и по физичес-

кому типу заметно отличаются от тюркского: отмечались более высокий рост, отсутствие скул, в общем правильные черты лица». До депортации, – читал я взахлёб, – они жили на Южном берегу Крыма – узкой полоске шириной в 2–6 км, протянувшейся от Балаклавы до Феодосии...

«Тип, отнюдь не монголоидный, с правильными чертами лица. "Мой", должно быть, из этих» – думал я. Этот тип закрепился в сознании в смысле «Да, он – крымский татарин», но практически это мало что мне давало. Я вышел на улицу собранный, настроенный на «донос». Нужно действовать, а не сидеть в читальне!

Их историю выселения я знал. Это было куда важнее, ибо я был единственным, что-то узнавшим и что-то понявшим о нём. Из экскурсий я помнил, что к моменту занятия немцами Крыма было создано и оставлено в горах тридцать партизанских отрядов. Двадцать восемь из них, до их действий, было выдано немцам населением крымских татар! Так что нужно ещё представлять, почему и за что всё было. То, что выселен был народ – преступление. То, как варвары их везли – жестокость. Но при всех преступлениях сталинщины это не было «ни за что».

Так что ныне была месть за месть. По известному: «око за око».

5

Но куда и кому сообщить?

К милиции, а тем более местной, доверия я не питал. Я видел всю грубость их действий, у нас и в других городах. Придёт участковый и гаркнет: «Кто здесь Варлам Шотович Гридзе?» Пройдёт по нему жёстким взглядом: «Ваш паспорт!» А там у него о' кэй. Ну, спросит, когда он приехал, проверит прописку, уйдёт. А Гридзе смекнёт и исчезнет, убрав перед этим меня.

Но если нужна не милиция, тогда, стало быть... КГБ. При мысли о нём я съёжился в давнишнем, пожизненном страхе. В суровом своём неприятии, святой неприязни

к нему... Когда-то, в мои девять лет, он зверски сгубил мою маму. А после сгубил и отца. И я выросал в детском доме, кругом, навсегда сирота. А сколько таких же там было, лишившихся ласки родных... Я видел, как их привозили, как если б ненужный товар. Коли бы там бабушка, дедушка, а то и порой кагебист! Такой с отвращением морщился: «Ещё один... отпрыск врагов!» И честь отдавал, уезжая творить для нас новых сирот...

Рассказчик замолк, весь в далёком, прервав, и долго, рассказ... Я чуял настрой собеседника, сокрытость страданий в душе. Должно быть, он жил с этой болью с той самой далёкой поры... Я знал, что он завтра продолжит в потребности что-то открыть, чтоб, если не сбросить страдания, то их приоткрыв, облегчить. Я молча разлил по бокалам добротное в Ялте вино.

За окнами ластилось море, спокойный, задумчивый штиль...

Мы вышли из ресторана притихшие, расставшись на ближнем углу. А я шёл и думал, что рассказ он прервал на КГБ. Как если бы об него споткнулся и упал, и... может, до сих пор не смог подняться.

Я знал этот проклятый господом мир. Закрытость державную ставень. Я знал и застал в своём детстве аресты десятков людей. И это лишь то, что я видел в пределах доступного мне...

...Я встретился с ним в шесть утра на пляже, где мы заплывали. Он был молчалив и суров, в нём глухо работала память...

6

В обед мы поехали в горы, где рос обновившийся лес. Стволы оголённых платанов и мощь каменистых дубов, и яркая, цвета пожара на светлых, открытых местах, краса ленокранских акаций – всё это жило и дышало, лес выжил полвека назад. Но что-то мешало сознанию без боли

всё это принять, как будто застыл над пространством обугленный намертво след... И старый, седой провожатый (он был в той поездке мне гид), водил, прижимаясь к платанам, к их голой, белёсой коре, и, словно в застывшем раздумье, поглаживал их, обнимал... Мы были изрядно голодны, но он не спешил уходить, как если б меж ним и деревьями таилась незримая связь...

...Не помню, как мы оказались в округлом, в горах, ресторане, где тяжко, за крымской мадерой, Иосиф продолжил рассказ...

— ...Так вот, я не должен был медлить, скорей сообщить в КГБ. Тому, кто в крови по колено, кто сделал меня сиротой! Нет... с этим державным тираном пойти на контакт я не мог. С таким у меня свои счёты, своя, по вине его боль. И я колебался и медлил, а лес на предгорьях горел, и главный его поджигатель беспечно жил рядом со мной! И так, год за годом, сюда приезжал и жил на виду, в центре Ялты...

Я снова прошёл к тому месту, откуда был лучше обзор. Пожар простирался всё дальше, на запад и на восток... И было заметно: над лесом кружил небольшой самолёт. И были видны вертолётёты и струи летящей воды, отсюда казавшейся дымом, а может быть, стайками птиц...

Так ехать! Немедленно ехать! Унять, превозмочь свою боль и говорить... да хоть с дьяволом, чтоб задержали Варлама!

7

...И вот я стою в Симферополе у серого, строгого здания. Такого же точно, как то, куда увели мою маму. Не те, но такие же двери. Такой же, как тот, часовой...

Я вспомнил: к такому же дому я приходил много дней с плачем, с желанием маму увидеть.

— Дядя, пустите, тут мама. Вы отобрали её.

Но часовой преграждал мне дорогу, сделав широ-

кий шаг вдоль дверей и с большой точностью, как по линейке, переставляя туда ногу. Я плакал и не уходил. Порой кто-нибудь выходил из этого проклятого дома и шёл мимо меня, хоть слышал, как надрывается в плаче ребёнок. А один подошёл, глянул с ненавистью:

— Мама твоя — преступник. Враг. Пшёл, понимаешь, отсюда! — И повалил меня на асфальт, я больно стукнулся о ступеньку. Быстро вскочил и дал дёру... Больше туда не ходил.

Потом они снова явились, забрали с собой и отца. И я все года храню ненависть к этим бездушным коробкам: там, где мы жили — в три этажа, здесь предо мной было пять.

Он вновь замолчал, и я видел, как щека его задрожала в мелком тике.

— Это с тех пор, — сказал он, заметив, как я наблюдаю. — Когда очень волнуюсь.

— А что... ваша мама? — спросил я невольно.

— Много лет её ждал, а её расстреляли тогда же. Думаю, когда ждал у дверей того дома, когда кто-нибудь выйдет, проведёт меня к ней, её уже не было в живых.

Иосиф смолк, и невольные слёзы увлажнили глаза, полились.

— Будь они прокляты! — процедил он сквозь зубы.

— А потом... в Симферополе... взрослым?

— Сцена детства, та жуткая сцена, словно встала опять предо мной... Надо было звонить из бюро пропусков, объяснять, по какому вопросу, а я стыло смотрел на ту дверь, на военных, спускавшихся вниз, на их стража. Машинально пытаюсь пройти, сделал шаг в его сторону, и, когда часовой преградил мне дорогу, переставив винтовку к ноге, мне представилось вдруг: я мальчишка, и молю его, плачу пред ним... Я ушёл, весь в тревоге: что делаю?! Надо им сообщить... сообщить! Овернулся... ещё колебался, ненавидя себя и коря. Нет... ни шагу

не сделал обратно. Отвернулся и быстро ушёл. Не сумел подавить свою память. Свою ненависть к этим преступникам. Взял такси и вернулся в Ялту.

— Ну, а он... Варлам Шотович... как?

— Он не понял, что я долго отсутствовал, потому что и так я задерживался на пляже.

Так прожили мы до моего отъезда. Снова байки о Грузии, снова шахматная игра...

Он хотел меня проводить. Видно, чтоб убедиться, что меня уже тут нет.

— Не утруждайте себя, Варлам Шотович, — сказала я с улыбкой, чтоб не выдать себя под конец. И, представляете... дал ему руку!

8

Я ехал на вокзал в Симферополе, но билет у меня был в Тбилиси. Я хотел до конца убедиться, — он молчал и качал головой, и лицо его, даже руки, мелко-мелко тряслись. — Я преступник! А он продолжал творить зло...

Я шёл по солнечным улицам Тбилиси, по проспекту Шота Руставели, казня, ненавидя себя.

— Гридзе? — переспросила сотрудница справочной.
— Варлам Шотович...

Она вышла. Я ждал. Минут через пять вернулась:

— Я смотрела по Тбилиси и Грузии. С этими данными нет никого.

— Я специально сюда приехал, чтобы убедиться в этом.

9

— А ещё вы бывали в Ялте? Вы встречали его?

— Лет пять не был, чтобы не видеть. А потом отдыхал в Евпатории и... на улице встретил его! («В Ялте жить, видно, стало опасно, — пронеслось у меня в голове. — Он появится там ближе к дате»). Но теперь на меня смотрел с ненавистью совершенно другой человек. Каждый миг

был опасен, я чуял. Жёсткость, воля в лице; сила, резкость движений, но... от встречи со мною – испуг! Он взглянул на меня, как затравленный зверь, и в глазах промелькнула догадка... Я буквально прочёл его мысль: «Он был в Ялте со мной не случайно. Он – и здесь! Он выходит на след».

Таких убирают, я знал, и на лице его это отразилось. Нужно было сыграть, я мог поплатиться жизнью. Я похлопал его по плечу, обнял и полез целоваться.

– Вот так встреча, мой друг! Ну, как вы?.. А хозяйка-то наша жива?

Он молчал.

– Я там не был с тех пор, – вздохнул я. – Вы, наверное, бывали? Как Ялта?

Он по-прежнему не отвечал. Но моя «неподдельная» искренность, видно, всё-таки как-то сказалась. Да и было ему не до меня, словно он ожидал чего-то...

Он глянул в сторону и взглянул на часы. В этот миг совсем близко прогремел оглушительный взрыв! Я вздрогнул невольно, а он ухмыльнулся и стоял, как ни в чём не бывало.

– Что это?! – спросил я.

– Как мои нервы? – усмехнулся он. – Крепкие?

Я рассмеялся, продолжая играть, но иначе сейчас нельзя было:

– Как я рад, что вас встретил, дорогой Варлам Шотович! Сколько было прожито совместно, сколько шахматных партий сыграно...

Я болтал и смеялся, как когда-то он сам. Он молчал и смотрел напряжённо: я действительно тот дурачок, каким был, когда жили, или тут для него ловушка?

– Ну, дай бог, ещё свидимся, – и я протянул ему руку. Он пожал её молча, неприязненно.

– До скорого, счастливо! – сказал ещё я. И ушёл, улыбаясь, повернувшись потом и ещё помахав ему вслед...

...Иосиф замолк, и я видел страдание, а порой даже ужас в лице.

— Представляете, даже тогда я не стал никуда сообщать. Что бы я им сказал: что пять лет назад жил в Ялте с преступником, а сейчас его встретил?

Больше вопросов я не задавал, мы посидели молча. И он завершил рассказ:

— Было двадцать шестое августа. До той даты оставалось три дня. Всё во мне клокотало, я ждал...

Через три дня я поехал в Ялту. И ещё вдалеке, за Массандрой, когда на поворотах открывались горы, было видно всё больше, отчётливей, как колеблются сизые волны над сосновым под ними массивом.

Лес над Ялтой горел...



ЛЮБОВЬ ОЛИ ПУШКИНОЙ

Документальная новелла

1

Давно, в дни моих юных лет, когда гремели имена двух великих певцов Ивана Козловского и Сергея Лемешева, у служебного входа в Большой театр толпились странной наружности девицы. Возбуждённые, с блеском горящих глаз, они отталкивали друг друга локтями, а то и дрались между собой, не реагируя на замечания, не видя ничего, кроме двери, из которой выйдет кумир. Они были безумно влюблены – кто в Козловского, а кто в Лемешева. Их так и прозвали в народе – «козлихами» и «лемешихами».

Кем были они, где работали, что собой представляли? Они мучились, стоя весь вечер у выхода из театрального подъезда. Последние деньги могли уходить на громадные и роскошные букеты, – только б увидеть его лишний раз, только б вручить букет! Только б иметь – пускай сущий пустяк! – фрачный его платочек! И... из наружных карманов во фраках порой исчезали платки.

Были и трагичные случаи. Однажды после концерта Сергей Лемешев шёл к машине, когда орава этих безумных рванулась с цветами к нему. Жена, которая его ожидала, а была она в положении, прикрыла собой певца, и одна из девиц ударила её в живот.

Случай известен был в узких кругах. Спустя много лет, в восьмидесятых, мне рассказал о нём бывший главный администратор Большого театра Серафим Иванович Китаев.

— Знала ли она, что это жена? — спросил я Китаева.

— А если б и знала, — сказал он, — тем паче могла бы ударить как соперницу.

Таковы были эти безумные. И не было у них иной жизни, как быть безнадёжно влюблёнными.

2

Но что значит были? Есть они и сейчас, благо они не прячутся.

Вот что писал в воспоминаниях в «Музе» народный артист России Геннадий Бортников, которого не меньше, чем великих певцов, преследовали неистовые влюблённые:

«Как-то после одной нашумевшей истории, связанной со мною и бешеными околотеатральными «террористами», мне позвонила Раневская.

Снимаю трубку: «Алло?!» — Голос Раневской: «Пожалуйста, не кладите трубку. С вами говорит народная артистка Раневская».

Я (радостно): «Здравствуйте, Фаина Георгиевна!»

Раневская (взволнованно): «Это вы, Геночка?»

Я — «Да, Фаина Георгиевна».

Раневская — «Милый, вы живы?»

Я — «Конечно, Фаина Георгиевна!»

Раневская (требовательно): «Нет, умоляю, скажите, что вы живы!»

Я — «Да, жив, Фаина Георгиевна! (Весело): Не с того же света я с вами разговариваю...»

В трубке раздаётся облегчённый вздох, и Раневская кладёт трубку».

Но было ли понятие «бортниковых»? Тех, кто любил «безумного красавца» Геннадия Леонидовича Бортнико-

ва? Пожалуй, не было, хотя вполне имело право быть: слава и притяжение его не уступали славе и притяжению великих певцов.

Но у актёров своя специфика. Свой интеллектуальный колорит.

В годы молодости своей и значительное время потом Геннадий Бортников был востребован, ценен, любим. Высокий, с тонкой, подчёркнуто аккуратной выпиской каждой детали лица, давшей в целом гармонию своеобразной красоты, спокойный, со вдумчивой, размеренной речью, человек более чем деликатный, он являл собой тип уникальнейший, неменяемый в наши дни на вес золота. Тип подлинного интеллигента. Ну, к деталям его лица мы вернёмся в связи со странной, как все «бортниковихи», и, как все они, несколько вычурной, замкнутой на невидный внутренний замок Олей Пушкиной.

По знаниям творчества этого актёра Оля не уступала крупным театральным критикам, разработчикам этой темы. Да что творчества! Оля в деталях знала драматургию – отечественную и зарубежную, где хоть в одной из пьес играл её Геннадий! Все творческие пути драматургов, весь комплекс сопутствующих черт...

Невзрачная, возможно, болезненная, с мясистым, слегка одутловатым лицом, не познавшая в свои тридцать пять мужчин и бывшая, что называется, старой девой, Оля меня не привлекала и, быть может, могла бы отталкивать, если бы я не ощущал её познаний сцены. Если бы не преклонялся пред «громадём» её знаний. Когда предстояло брать интервью у Геннадия, я мог не готовиться, как обычно, в театральной библиотеке или «Ленинке», а просто звонил Оле Пушкиной и получал исчерпывающие ответы на всё, что могло быть с ним связано. Даже если речь шла о спектаклях тридцатилетней давности.

Я был с ней знаком благодаря её маме – известной в узких музыкальных кругах Светлане Ивановне Пуш-

киной, музыковеду-фольклористу, о которой писал и, в связи с интервью, вёл домашнее знакомство. Маме было уже много лет. Её беспокоила не складывающаяся судьба дочери, и как она останется после неё – нигде никогда не работавшая, не приспособленная и ничего не умеющая делать, кроме как любить Геннадия Бортникова.

Когда и с чего начиналась её потайная любовь? О, многого вы хотите, я никогда этого не знал.

Должно быть, с какого-то давнего спектакля в Театре имени Моссовета, где Гена блистал в ту пору, и слава его росла... Тогда и возникло безумие безудержной тяги к нему.

С тех пор никогда и ни с кем она не пыталась знакомиться. Никто бы не мог соответствовать, затмить дорогой идеал. Не жизнь, а жертва. Как, впрочем, у всех «террористок» – «козлих», «лемеших» и за пять тысяч лет до них.

Но Оля была не похожа, пожалуй, на всех «террористок». Она не могла бы у Гены украсть даже ничтожный платочек. Ей бы несла ощутимую боль даже сама эта мысль! А если бы он был женат (Бортников был всю жизнь холост), она бы страдала в сто раз сильнее, но искренне и от всей души желала бы счастья его супруге, если он сам этого желал.

Это отличие её от других было единственным, уникальным. Ибо любовь крадущих у кумира, чтоб насладиться вдыханием запаха его платочка, и уж – убей Бог! – удар по его супруге – это что?! Разве это любовь? Или, может быть... что-то другое? Какой глубочайший эгоизм в безумии насладиться самой, когда и само по себе наличие этих «девок» несло только вред предмету обожания!

У Оли Пушкиной была именно любовь. Любовь девятнадцатого века.

Он знал её чуть-чуть. Точнее – уже невольно выделял из массы других «бортниковых». Опасных, отчаянно безумных в своей безответной «любви». Годами не замечая, заметил. Просто не мог не заметить, так как она не пропускала ни одного спектакля с его участием, даже если лежала с температурой сорок. Даже если у него это была не роль, а замена, ввод, она оставляла время, чтобы перед спектаклем успеть заскочить в цветочный магазин (а жили они на окраине, езды полтора часа). Букет был всегда дорогим, хоть были они не богаты. Но лучше не доедать, чем представить, что он не получит от неё цветы! Или получит их мало.

Если, как правило, он, морщась от нежелания видеть «бессмысленно безумных», как про себя именовал «девах», боясь их и сторонясь, выходил со спектакля, стремясь их не замечать, то где-то краем глаза видел Олю, и, так как та боязно кивала, кивал и ей, на миг становясь вдумчивей, серьёзней, на долю секунды задержав на ней взгляд... Тонким чутьём влюблённой она улавливала его реакцию – крошечную деталь, на миг остановившую на ней внимание кумира, выделившую её из десятка-двух соперниц, коих она ненавидела всеми фибрами души...

Так было в тот день, когда, выйдя в «предбанник», он уловил её присутствие и, будучи деликатным, произнёс:
— Да-да... Катя, здравствуйте...

Цветы принял почти машинально. Рассеянно взглянул и ушёл.

Он сказал... «Катя» вместо «Оля»! Хотя, ей казалось, знал, как её зовут: её сотни раз окликали при нём. Она застыла, не в силах двигаться. Станные чувства обуревали её. С одной стороны, она была счастлива, что он, наконец, ей хоть что-то сказал. Но... о, кошмар! О, погубленная жизнь! «Он что, забыл? Или сказал умышленно?!»

Много дней она была «не в себе». Мать волновалась, что она бросится с балкона.

— Да не волнуйтесь! — успокаивал я бедную Светлану Ивановну, которая не стала пить чай и не притронулась к пирожным.

— Нет, я пойду... — рассеянно отвечала она. — Всё может быть... она близка к этому.

И уходила в таком смятении, что было боязно за неё саму.

Оля не бросилась с балкона. Но, может быть, этот случай стоил лет её жизни, кто знает...

А собственно, что произошло? Случай, который... даже нельзя назвать случаем. Нельзя сказать, что Геннадий тут же забыл об этом. Забыть можно то, что было.

А не произошло ничего.

...Я вышел со спектакля, где был по его приглашению. Мне не понравилась его игра в «Гедде Габлер» Ибсена. Рядом с Юрским, не игравшим, а жившим на сцене, до гениального воспроизводящим образ мужа Гедды, Бортников в роли Левборга проигрывал.

На следующий день мы встречались: я брал у него интервью в доме «Мелодии» на Арбате, где он жил на семнадцатом этаже.

— Геннадий, — сказал я. — Вы сыграли героя, у которого пропала рукопись его книги. В ней была его жизнь! О ней, — говорит он по пьесе, — будут помнить и через двести лет. Вы это сыграли? Где его потрясение? Вы появляетесь в этой сцене и ведёте её спокойно, как если бы ничего не случилось. Может, это его спокойствие — в пьесе Ибсена, и он такой? Нет, у Ибсена этого нет.

Геннадий смотрел, быть может, взволнованно. Может быть, вдумчиво, но... молча. В интервью я к этому не вернулся. Актёрам не нравится, когда так говорят.

На следующий день, у Пушкиных дома, я решился сказать это Оле. Не думал бы говорить, если б она не встретила меня волнением:

— Вы были на «Гедде Габлер». Я видела вас. Ну, как?

Что должен был я сказать? Что он играл гениально? Я понимал, перед кем нахожусь. Знал, каких слов она ждёт. Я колебался, но сказал то, что думал.

Боже, может быть, я сумасшедший? Что я натворил! Что себе позволил!

— И вы... это сказали Геннадию?! — на неё было страшно смотреть. Она взяла себя в руки и произнесла в безумном страдании, тихо:

— Не-ет, он не мог так играть... Вы лжёте!

Здесь хочется сказать: она ломала руки. Она... замахнулась на меня! Это читалось, но этого не было. Было смертельное отчаяние.

Мать поднесла ей воды...

Когда я был у Бортникова, раздался телефонный звонок. Он снял трубку и в разговоре произнёс:

«Светлана Ивановна...» Потом была пауза, он ждал и... обратился: «Оля!»

Я не ослышался? Что это? Они уже звонят ему домой?!

Сказав пару фраз, он простился.

— Никак... Пушкины? — изумился я. (Мне было строжайше запрещено её мамой с ним когда-либо о ней говорить).

— Да... Вы их знаете? — спросил он равнодушно.

— Знаю маму. Брал интервью.

— Да?... — он зевнул. — Жалко дочку.

— Светлана Ивановна! — говорю я в трубку. — Я чисто случайно услышал: вы с ней звонили ему?!

— Откуда вы знаете? — встrepенулась она.

— Я был у него вчера. Это было при мне.

— Вот как... — Она успокоилась, стала говорить.

Оказалось, ещё полгода назад, она, желая помочь дочке, набрала номер Бортникова и говорила с ним. (Член Союза композиторов, музыковед, автор книг).

Он говорил с ней на равных в связи с каким-то спектаклем. В конце деликатно попросил звонить. И постепенно... она подключила к их разговорам дочку, и та, с её знаниями, давала глубокую оценку ролей, рисунка спектакля в целом. Ему было интересно, он слушал...

А позже увидел их в театре. Они были вместе. И... понял. Остыл. Она ведь была «одной из них»! Принять для себя «бортниковиху», «одну из этих безумных», он бы не мог ни при каких обстоятельствах. И отвечал, когда мать давала ей трубку, односложно. Зевал, отнекивался, клал трубку. А то и произносил пару фраз, как было при мне.

Она страдала больше, чем было до того.

...На исходе восьмидесятых я брал последнее у него интервью. Уже тогда он почти не имел ролей – актёр блестящего взлёта и трагического конца.

...Чуть ли не с юных лет замеченный Завадским и ярким режиссёром Анисимовой-Вульф, он взят был в академический Театр имени Моссовета сразу по окончании Школы-студии МХАТ, сыграв в нём ряд видных ролей и выделяясь на ярком фоне его прекрасных имён.

Так было до смерти Завадского в 1977 году, когда актёру было всего 38 лет, и он находился в расцвете. Потом... объявшая три десятка лет, шла полоса «задвижения», в конце переросшая в забвение.

Только сейчас, спустя тридцать лет, интервью появилось в интернете. Тогда же... с трудом и в урезанном виде его удалось пробить в газете «Советская культура».

А после пошли девяностые, когда на целые десять лет его лишили ролей!

На что он жил в те годы? На скромный оклад, которого часто не хватало? Когда, наконец, он попросил материальной помощи у театра, в славе которого была его доля, ему выдали... 290 рублей, которых едва могло хватить на день!

Что произошло? Какой слой зависти выполз на мутную поверхность? Кто мстил ему тридцать лет и за что?

Можно представить, как его трагедию переживала Оля. Всё б отдала ему, если б могла! Но отдавать было нечего.

...Я не видел его несколько лет. Куда-то делись и Оля с мамой. Не то чтоб расстались, но жизнь есть жизнь: другие знакомые, другие дела. В Москве мы знаем, как это бывает: не видишь знакомых по несколько лет.

И вдруг... телефонный звонок! Звонил, как всегда, сначала брат Геннадия, потом передал ему трубку.

— Хочу вас пригласить на выставку моих работ... Да, в ЦДРИ. Портреты, декорации...

— Давно не видел вас, Геннадий Леонидович! Что ж, с радостью приду.

— Увидимся, спасибо.

Он был ещё и художником. Талантливым и ярким. И, если б не стал актёром, мы знали бы его как художника. Коллега по труппе, великая Раневская, впрочем, сама недурно рисовавшая, однажды побывав на выставке Геннадия, набрала его номер.

— Геночка, вам нужно срочно уходить из театра. Немедленно! Вы замечательный живописец! Случайно попала на выставку. Какие замечательные портреты, особенно... этот знаменитый француз?..

— Марсель Марсо, Фаина Георгиевна.

— Да, да, Марсо...¹

Увы, Фаины Георгиевны давно уже не было в живых.

Я увидел Геннадия и... обомлел. Подал ему руку и... не смог улыбнуться. Что с ним произошло, я и сейчас не знаю, спустя двенадцать лет после его кончины. Если б

¹ Геннадий Бортников. «Настоящее время прошлого». «Муза», 2005 г., № 5.

меня не подвёл к нему его брат, я бы не узнал Геннадия. От тонкого, даже тончайшего, глубоко интеллигентного лица, где каждая деталь играла, восхищая, не осталось ни одной чёрточки, которая бы напоминала о прежнем. Ему было всего 69 лет, и не было на лице морщин, но... это было грубейшее, как бы вырубленное по краям топором, квадратное лицо банщика!

Я смотрел и... с минуту молчал.

— Ну, здравствуйте, Геннадий!

Среди работ разных лет – портреты видных актёров. Исполненные громадного мастерства, они останавливали у каждого, и не было сил оторваться, рассматривая любой без конца...

Устав, находившись по залу, я стал искать глазами Олю... Но Пушкиных не было. Геннадий их не позвал. И она не пришла на открытие, должно быть, потрясённая этим.

Прошло ещё несколько месяцев. И кто-то мне позвонил: – Умер Геннадий Бортников.

Я тут же набрал его домашний номер. Брат Игорь, неизменно один живший с ним в этой квартире, буквально рыдал и не мог успокоиться. Так, сквозь рыдания я уловил: «В больнице... остановилось сердце...»

Он захлёбывался от слёз, Игорь Бортников...

Представив себе, как эту весть воспримет Оля, я несколько дней не мог им звонить. Но в день похорон набрал номер.

Горе её было выше рыданий, она говорила спокойно. И только паузы, тяжёлые паузы, улавливаемое в трубке дрожание её губ в какой-то степени выдавали её состояние.

— Вы были на кладбище, Оля?

— А как же. Знаете, я не верю, что он умер. Это, может быть, ошибка. Он лежал в гробу... красивый такой... как всегда. Лежал живой. Он и есть живой... Я не верю.

Слова об ошибке стандартные, их иногда говорят. Но что-то зловещее, необычное, сквозь боль прорывалось в догадку:

— Недруги... у него были недруги... Это они положили его в гроб! Он живой!

— Оля, его похоронили, — не выдержал я.

— Это не важно. Я буду настаивать, чтоб его откопали. Хоть через несколько дней... хоть потом.

Голос её успокоился, и она задумчиво сказала:

— Знаете, он не умер. Его можно оживить.



НОЧЬ ПОСЛЕ ПРИГОВОРА

Было это давно, в моей молодости. Мне было двадцать шесть. Я окончил юридический факультет и был юрисконсультом на большом московском заводе.

В августе шестьдесят шестого я женился. Стояло невиданно холодное лето, какого не помнили даже старики. В день моей свадьбы, 3 августа, при леденящем, завывающем ветре падали мелкие снежинки, и, несмело касаясь земли, ложились и тут же уносились, оставляя местами участки и полосы с меленьким снегом. Потом, за полвека с лишним в Москве, лета такого не помню.

Оклад молодого юриста был символическим – 70 рэ. Работа была для меня мало интересной, к тому же достаточно далёкой от дома. День на заводе тянулся долго, я приезжал домой усталым и печальным. Это не было то, чего мне хотелось: я был поглощён призванием, мечтал писать, планы были большие...

Переезжая к жене, я сменил поликлинику, и, как положено, сделал рентген. А так как надо было что-то ещё, сказал им:

— Послушайте, я только женился, мне не до вас.

— А мы вас не будем вызывать, – сказала медсестра.
– Только в случае, если выявят рак или туберкулёз. – Она посмотрела на меня, крепыша, и, улыбнувшись, добавила: – Вам это не грозит.

Я ушёл от неё весёлым, и вообще мне очень хотелось жить.

Назавтра, едва я вошёл с работы, тёща встретила меня сообщением:

— Вам звонили из поликлиники. — Она глянула на часы. — Сейчас уже поздно. Но утром они вас ждут. Срочно.

Только этого не хватало... Я прислонился к стене и стоял, ошарашенный, потрясённый... «Туберкулёз?» — пронеслось в голове. Я посмотрел на сухие руки, прислушался к своему дыханию... Нет ни малейших признаков, туберкулёз исключён. Значит... рак!

Я был вне себя от удара. Почему-то, едва начавшись, обрывался вблизи мой путь. Сразу рушились все мои планы.

— Что с вами? — озаботилась тёща. — На вас лица нет.

— Это ужасно, — промолвил я. И, весь в своих мыслях, выдохнул: — Туберкулёза нет! Но... я пока ничего не скажу.

— О, боже, — промолвила Софья Семёновна. — Вы, что же, не всё сказали дочери, когда женились?

— Оставьте меня, прошу вас... — Я отошёл в дальний угол комнаты. — Оч-чень прошу.

Софья Семёновна ушла в свою комнату. Как не уйти, зять в таком состоянии...

Я стал гадать: рак какого органа? Ну, а если ещё он давний... Я ощупывал себя, гладил, но ничего не находил.

— Ну, врачам, стало быть, виднее, — тихо вымолвил я. — Раз нашли...

Тёща, вышедшая из комнаты, услышала эти слова.

— Что нашли? — взволновалась она.

— Коварная болезнь, — отвечал я не ей, а себе самому, почти шёпотом. — Среди полного здоровья, ничего не болит, ни малейших жалоб и — на!

— Надо всё говорить, когда женитесь, — проворчала она и ушла. Я хотел было вслед ей ответить, что не знал, моя совесть чиста. Ну, да что говорить, умираю. Жизнь вынесла мне приговор.

Ночью стала жена ко мне ластиться. Как раз впору ответить, забыться, брать от жизни последнее. Только я как представлю, что почти обречён, что надежды, должно быть, не будет...

— Не до этого мне, — буркнул я. Отодвинулся и отвернулся.

— Ты чего такой странный, — прошептала жена. — Для чего ты женился?

— Сколько мне остаётся, о господи, — прошептал я в слезах и забылся. Но очнулся, в сумбуре вскочил. Заходил полуголый по комнате, весь горячий, в глубинной тревоге...

Вышла тёща: почуяла странное.

— Вы поссорились?

— Нет. — Я замолк. Дух неладный, нелепый, трагический воцарился и замер вокруг.

— Вы больны. У вас жар, — утвердила она. — Я же вижу. Идите ложитесь.

Я взглянул на неё... на себя... Мы стояли почти что в исподнем.

— Что ни есть, а всё скажется утром. Утро даст мне конкретный ответ... — Чуть её отодвинув, я пошёл на балкон.

— То, что скажется, не сомневаюсь, — пробурчала она мне вслед. — Вы и так уже весь раскалённый. На балконе плюс два.

Я стоял полчаса... Весь продрог, но тревога внутри растворилась. «Будь как будет!» — сказал я себе. Надо было кончать с этой паникой. Я вошёл, лёг в постель и заснул.

Утром, прямо к открытию, в восемь, я возник перед медсестрой.

— Что у вас?

— Вызывали! — я был удивлён: ведь узнала, я был вчера вечером. Впрочем, рак для них дело обычное.

Она вспомнила:

— Да... вызывали. Это я вам звонила. — Улыбнулась, сказала заботливо: — Вы попали в хорошее место. У нас лучшая поликлиника, очень опытные врачи. — Стала рыться в бумагах, а я трепетно ждал: вот сейчас прозвучит приговор...

— Да, так вот, почему я звонила... У вас нет одной справки. Сейчас я скажу, какой...

Она что-то ещё говорила. Вся — сплошная забота и участь. Милый взгляд, излучавший тепло.

— Чтоб вы сдохли! — сказал я в сердцах. И вышел из поликлиники.



«...И ВСЁ-ТАКИ ЭТО НЕ ДОМ»

Думы об эмигрантах

1

...Над Веной опускалась короткая июньская ночь. Устав от ходьбы с чемоданами до улицы Таборштрассе, я вошёл в небольшой уютный отель, и только оформился и открыл свой номер, как в дверь постучали и вошла молодая, не по годам грузная женщина. Было видно, что устала она в этот день не меньше, чем я, и, набегавшись в хлопотах, явилась, чтобы отследить прибытие гостей на Венский литературный фестиваль.

Я знал её по Польше, где в Гданьске, на Международных литературных чтениях, она представляла Австрию. Жила она в ней уже восемь лет. Попривыкла, полюбила Вену, где, объединив разрозненных русских эмигрантов, создала Союз русскоязычных литераторов Австрии и сделала традиционным созданный по её инициативе Венский литературный фестиваль.

Её звали Марина Калашникова. Я знал, что она из Минска. Её муж, профессор, доктор наук, надо думать, был тоже устроен.

Мы обменялись дежурными словами о том, как прошёл перелёт, как добрался, и, с любопытством глядя на неё, я спросил:

— Хорошо вам здесь, Марина?

Она задумалась... Сквозь довольство положением, бытом, новой жизнью, проступила лёгкая, чуть заметная грусть:

— И всё-таки это не дом...

2

«И всё-таки это не дом...»

Я возил в своей памяти эту фразу по дорогам Швеции и Норвегии, Турции и Польши... Встречался с эмигрантами, наблюдал.

Судьбы разные. Они были всегда. Есть счастливые судьбы эмигрантов и тяжёлые судьбы есть.

Да и разные сгустки «наших» в каждой из этих стран. В Стокгольме, например, где вообще полно русских туристов, на главной площади порой кажется, что звучит сплошная русская речь. У памятника не то Карлу Пятому, не то Августу Третьему (все шведские короли или Августы, или Карлы) разговорился с чёткой средних лет из Москвы. Восемнадцать лет живут в Германии, путешествуют по Европе, довольны. И жизнью в Германии, пособий которой достаточно, чтобы увидеть мир, и от того, что сейчас — на этой счастливой площади...

Ни разу за эти годы не приезжали в Россию. Прощаясь, бросаю:

— Скучаете по Москве?

Счастливы улыбаются: само собой — нет! Зачем им сейчас наша трудная жизнь?

В Вене после Стокгольма, при всей её праздничной стоязыкой массе, за восемь дней встретил лишь две группы российских туристов. Исходил её всю, объездил... Пройдя мост через Дунай, на окраинном полупустынном берегу, куда, видимо, даже венцы приезжают лишь по выходным, вдруг услышал русскую речь. Обернулся: две по-западному одетые дамы... средних лет, мягко говоря. Познакомились: из Твери. Здесь жи-

вут с юных лет. Пригласил в ресторан, говорили весь вечер. С жаром-пылом расспрашивали, а в глазах...

Спустя несколько лет, когда для заграничного сборника понадобилось дать стихи, вспомнил я те глаза. И то самое состояние – и усталости, и тоски – что не могли скрыть улыбки и живой разговор. И опять мне слышалась фраза, прозвучавшая в полуночной Вене...

И тогда родились стихи:

Да, помню, помню в старой Вене
Двух эмигранток из Твери.
Им грело души тяготенье
К земле, где плачут глухари.

К Руси, к заветной дали Волги,
К крыльцу с предутренней росой.
Но годы в Вене были долги,
С её чужбинною красой.

Шёл век... И, как обыкновенно
Бывает в случае таком,
Они невольно свыклись с Веной,
С неблизким, колким языком.

Здесь вышли замуж, были дети,
Семей сложившихся уют,
Но край, где жили в лихолетье, –
Забут ли первый их приют?

И гложет души, как истома,
Как боль неясная внутри,
Глухая в сердце
Тяга к дому.
К нескладной родине.
К Твери.

И лишь на пятый день, за аркой в старой Вене, увидел я русскую экскурсию. Примкнул, пошёл за ней,

слушая и рассматривая гида – женщину средних лет, явно недовольную тем, что к группе примкнул чужак.

— Писатель я, из Москвы. Гость Венского фестиваля.

Она тихо переспросила: писатель? Из Москвы? – Глаза её загорелись, и что-то давнее, потаённое, оборванное мелькнуло и не гасло в них... Пристрастие? Забытые связи? Тоска по рухнувшему с её отъездом миру московских интеллектуальных знакомств?

Она повела экскурсантов дальше, время от времени ища глазами меня... Ей явно хотелось заговорить, когда кончится экскурсия. Быть может – не лишнее – познакомиться. Но приближалось начало заседаний, я вынужден был уйти.

3

А больше всего таких встреч в Германии. Я как-то пошутил, что если и Меркель будет поддерживать «санкции», придётся снова брать Берлин. «А его не надо брать, – рассмеялся эмигрант из Берлина. – Здесь и так наших – на каждом шагу».

— Это не эмиграция! – говорит мой коллега, поэт Вадим Ковда, живущий, как и Жирмунская, как тысячи наших, вот уже много лет в Германии. – Эмиграция, это когда уехал – и всё! И не можешь вернуться. А мы по полгода живём в Москве.

Да, для них это не эмиграция, а такая... вольготная жизнь. Там квартира, и неплохая. Здесь квартира, и неплохая. И жена его здесь, у которой живёт полгода. А Германия платит пособие. Надо честно сказать: неплохое. По Европе можно ездить, по миру. И печататься – здесь и там.

...В крайней западной точке Норвегии, высоко в горах, где к полуночи мы устроились на ночлег, чтобы утром продолжить наш туристский маршрут, познакомился с парнем из Пярну. При Советах был он буфетчиком, а как канули они, нелюбимые, отошла от них

Эстония, переплыл на пароме в Швецию, а оттуда добрался сюда, в нелюдимые горы Норвегии, и устроился в отель... буфетчиком.

Как вам тут? – говорю. – Лучше, хуже?

– Ничего. Можно жить.

Там буфет, тут буфет. Можно жить.

Скоро четверть века, как эмиграция, после трёх её русских волн, обрела... нет, не новые черты. Просто стала иной по существу – для многих и многих эмигрантов.

«И всё-таки это не дом».

Нет, никто больше мне не сказал такой фразы. Но не она ли – в приездах на полгода в Москву? Чтобы поспать в своей спальне. Поработать в своём кабинете.

Вы не знаете, почему диссидент с символичной фамилией Бегун, насмерть бившийся с властью, которая называлась советской, бунтовавший неистово в «отказе», как лишь рухнула эта власть, как вернулась возможность изучать свой язык, быть причастным к национальной культуре, покидать стал на долгое время уважаемое государство Израиль, и подолгу пребывать в России?

Почему журналист Феликс Дектор, у которого КГБ отобрал квартиру, существующие в приличном обществе права и лишил работы; разорённый, униженный, битый, наконец уехавший из страны и проживший четверть века в Израиле, имея возможность жить в нём и дальше, больше не уезжает и живёт в квартире на Кутузовском?

Почему блестящий учёный и поэт, проживающий в Берлине доктор исторических наук Максим Дубаев чуть ли не основное время года проводит в квартире по недалёкому соседству со мной, в районе Преображенской площади?

Уж эта Германия...

...Сосед мой по дому, фотограф Борис уезжал в Лейпциг. Навсегда.

— Не потянет домой? — его спрашивал. — Вы найдёте себя, будет лучше?

— Это вам, — отвечал он мне, — там бы многое было надо. А мне ничего не надо. Я фотографом буду везде.

А спустя десять лет в Москве, куда прибыл на две недели:

— Как, Борис, не жалеете?

Долго думает, трёт виски... Неохотно так говорит:

— Немцы, они ведь какие? Они и друг к другу редко ходят в гости...

Ничего больше не говорит.

Но пронзительна фраза Марины из манящего города Минска.

* * *

...Прошлым летом муж Марины Калашниковой получил новую работу. Его пригласили в Англию, не то в Лондон, не то в Ливерпуль. Значит, есть перспективы. И Марина поехала за ним. И прервался — на время ли, навсегда? — Венский литературный фестиваль. Не стало инициатора, и некому его возродить.

А я представил Марину в Лондоне (Ливерпуле, Глазго). Станет ли новая земля её домом?



**РАССКАЗЫ-
ВОСПОМИНАНИЯ**

В СВОЁМ АМПЛУА

Случай Новодворской

...Когда было ясно, что альманах состоялся, причём с привлечением заметных имён, я как редактор высказал мысль о приглашении на его страницы политика.

— Только не Новодворскую! — заявил Лазарь Шерешевский.

Я задумался. Редколлегию он не представлял, но — умный и глубокий мыслитель — зачастую высказывал дельные советы, и с первых шагов я ощущал его реальную помощь.

— А почему не её?

— Напряг нам не нужен.

Я улыбнулся. Речь шла не о скандале, который разразится, как только номер выйдет из печати. И не потому, что она скажет что-нибудь не то. Просто само обращение к ней уже предвещало «напряг».

В самом деле, она отлична почти от всех, таких же, как она. Слово «почти» здесь вовсе не случайно. По неумённости и силе напора, по несогласию с вами уже тогда, когда вы ещё ничего не сказали, она делит первое-второе места с сыном юриста.

Но с другой стороны...



Мне рассказывали, что, выступая на похоронах Гайдара, она плакала, и потому выступление её получилось очень человеческим.

«Валерия Ильинична, – говорит в интервью её друг Константин Боровой, – при всей её агрессивности и радикальности, очень доверчивый и романтический человек. Когда началась её дружба с Борисом Березовским, я с точностью до дней и слов предсказал ей, чем это закончится. И конечно же, услышал от неё, что я старше и мудрее, когда этот странный альянс закончился»¹.

В другой раз я узнал, как вела она себя на премьере, как страстно и необычно реагировала. Казалось, Валерия Ильинична плохо смотрит спектакль. Она нервничала, крутила головой; в зависимости от действия на

¹ Газета «Еврейское слово», 2007 г., № 13, стр. 10.

сцене всем телом подавалась вперёд... А через несколько дней в газете была рецензия на спектакль. Тонкая. Всесторонняя. Глубокая. Её автором была... Новодворская.

Но с другой стороны...

Ох, уж это – с другой!

Вот она рассказала, что в юности прочла пятьдесят томов Ленина (!) и поняла, что нужно строить капитализм.

Поэтесса М. Ногтева в «Музе» вспоминала, как юная Новодворская сбросила с балкона в театре, по-видимому во время антракта, кучу антисоветских листовок. А когда её задержали, назвала себя революционеркой.

Пламя! Мощнейшая реакция, которая за доли секунды вбирает и переваривает ваш вопрос, и чуть ли не быстрее аналитической машины выплёскивает ответ. Вам кажется – сумбур. Она не машина. Что за ответ за доли секунды на сложный и многосторонний вопрос! Но вдруг вы слышите, что ответ глубок и всесторонен. Что состоит из единственно нужных и убедительных слов (пусть в её понимании, с её позиций). Как это получается – загадка. Возможно, она её унесла с собой, и мы о том так и не узнаем.

Но каждое слово, кровью выплеснутое огненным клапаном сердца, отнимало час или два её оставшейся жизни...

Я позвонил Валерии Ильиничне.

Символично: после того, как ей сказали: «Звонит главный редактор», она продолжала разговор. Громкий. Напористый. Характерный. Голос её был отчётливо слышен и, честно говоря, раздражал. Так продолжалось минуты три. («Что с того, что главный редактор! Подождёт»).

Тоскливо... Но жду.

...Затих, наконец, её бушующий голос, как бывает в завершении шторма, когда низкий, несильный вал выкатывается уже спокойно на берег.

Через минуту она взяла трубку.

Пытаясь унять раздражение и необъяснимый неу-
ют, возникший глубоко в подсознании невольно и не-
зависимо от меня, назвал себя и представленный мной
альманах.

— Никто из политиков даже не слышал о таком
альманахе «Муза»! — произнесла она, вдруг врываясь в
окончание моей фразы.

Можно подумать, что с каждым из них она говори-
ла о «Музе»! И на её недоуменный вопрос, слышал ли
тот о таком, ей отвечали: «Нет! Никогда мы о таком не
слышали!»

— ...И Войнович не слышал! — она назвала одного
Войновича, и я понял: он стоит возле неё и слышит.

— И Войновичу мы предложим участвовать, — вста-
вил я, но она уже меня не слышит.

— ...и покойный Астафьев... И Анатолий Рыбаков...
Тем более, Рыбаков — очень слабый писатель... Вы же
Лимонова не будете печатать?

— Лимонова — нет.

Господи, сколько всего обрушилось на меня за пол-
минуты... Относящегося и не относящегося к делу.

Я прошу её всё-таки дать для «Музы» статью. Пред-
лагает откуда-то, где её постоянно печатают, «брать
сколько угодно материалов». Объяснил, что мы ничего
не повторяем, а печатаем новый материал. Говорил, тер-
пеливо выслушивал и пытался её убедить, но надежды
на согласие не было.

И вдруг... всё переменялось! Как и когда такое ста-
лось, я не успел даже уловить.

— Какая может быть тема? — спросила она без оста-
новки, хотя это противоречило всему, ею сказанному.

— Это может быть Чечня. Это могут быть «комму-
няки», — сказал я, сознательно употребив её слово. Я
помнил слова Максима Галкина: «Она и в жизни такая,
как на экране: «Коммуняки! Коммуняки!»

— Но кто же будет читать этот материал? — спросила она уже спокойно. И я мог почувствовать: она немного остыла. То ли устала от внезапного взрыва и напора. Я стал развивать инициативу:

— Его будут читать писатели. И само по себе ваше выступление способно привлечь внимание. Это будет «бомба»!

Она стала склоняться... В голосе звучало согласие.

— Какой готовится номер?

— Пятый, — ответил я. — Но если иметь в виду пятый, надо поторопиться.

— Сколько времени у меня есть, чтобы попасть в пятый?

Разговор повернулся на 180 градусов. Этого нельзя было ожидать. Как нельзя было ждать, что он снова «перевернётся». И я вдруг сказал:

— В конце концов, я — редактор. Даже если бы номер был готов, ради вас мы бы подождали. Но обсудим тему.

— Хорошо. У нас очень плохой Президент.

(Только этого нам не хватало! «Муза» — не диссидентский альманах).

Я замялся:

— Надо бы обсудить не только эту тему...

Она резко перебила:

— Этот Президент вам нравится?! Что хорошего вы находите в Путине?

— Я люблю талант. Люблю яркость.

Это было слишком! Сверх нервных возможностей Валерии Ильиничны.

— Кто вы в вашем журнале? — почти выкрикнула она. Хотя уже хорошо это знала.

— Редактор. Главный редактор.

— Я не буду участвовать в вашем альманахе! — быстро ответила она. — У нас разные политические взгляды.

— Это хорошо, что разные...

Но она меня уже не слышала.

Было шестое января 2005 года.

— С Рождеством! — произнесла она.

— С Рождеством, Валерия Ильинична, — вяло ответил я. Мне уже было безразлично.

Она бросила трубку. А я вспомнил четыре строчки Шерешевского, которые он мне прочёл сегодня утром:

*Ну, а нынче – ё-моё! –
Всё браня забористо,
Настроение моё
Стало новодвористо.*

И ещё я записал в дневнике:

«Суть Новодворской – оппозиция. Она должна противостоять. Во что бы то ни стало. Даже если противостоять уже будет некому, она всё равно будет против. Вот же пала Советская власть, против которой она так боролась. Строим капитализм, к идее которого она пришла, прочтя пятьдесят томов Ленина. А всё равно она против.

Против кого?

Если бы Путин вдруг развернулся на 180 градусов и стал бы выражать интересы, противоположные нынешним, она тут же боролась бы против этих интересов».

Не знаю, прав ли я или это спорно? В записи – моё мнение.

А вот запись в дневнике спустя три года:

«Президентом стал Медведев. Не зная, могу сказать, – но не потому, что он друг Путина и политика не станет меняться, – даже если б она изменилась, Новодворская – против. И если предположить, что вслед за Медведевым Президентами будут Волков, Зайцев, Лисицын, она будет соответственно против Волкова, Зайцева, Лисицына. И не суть важно, какую политику будет проводить каждый.

Новодворская и власть – несовместны».

После нашего разговора я понял, что есть невозможные вещи. Можно записаться в отряд космонавтов и полететь на Марс. Но разговаривать с Новодворской невозможно. Спокойно, во всяком случае, без напряжения нервов. Вокруг тебя всё кипит, горит и швыряется. И если у тебя хоть раз было повышено давление, и если ты знаком с Валерией Ильиничной, при встрече лучше её обойти, спрятавшись за дерево.



ТОНКАЯ МЕСТЬ

Когда умер мой тесть, Борис Феоктистов, о ком я не раз писал в стихах и прозе, виртуоз игры на балалайке, уровня, не сравнимого ни с кем – один такой во всём мире – на похороны его прислала венок великая Людмила Зыкина.

— Приехала бы сама, – звонила она из Стокгольма, – да не могу прервать гастрولي.

Венок был роскошным, дорогим. Как по деньгам, так и по имени приславшей. Несли его в голове процессии как честь. Гордостью был и сам покойный. Я не оговорился: один такой. Разве могли бы Рожков и Данилов, а в прошлом – Андреев, Трояновский, сыграть переложенный для балалайки концерт для... скрипки с фортепиано? Разве мог бы любой из них сказать, что на его концерте встал, аплодируя несколько минут, полный состав итальянского театра Ла-Скала?

Я бы сказал, на похоронах царила взаимная гордость. Тесть мой не раз в разговорах со мной почтительно называл Зыкину великой, а она его, как позже я услышал от неё – великим виртуозом. (Так же точно о нём и о ней говорил мне и Виктор Боков). За гробом тянулся внушительный ряд его рядовых почитателей...

Не будучи на похоронах, Людмила Георгиевна распорядилась, чтобы её представлял Виктор Гридин –

музыкальный руководитель коллектива, её бывший муж. Доминанта её ансамбля ощущалась, хотя были представители и венки от Московской государственной филармонии, ЦДРИ, многих чтимых...

Гридин – тонкий, высокий, сдержанный, несший в облике своём, даже жестах, «родовые» черты их ансамбля, и, как можно было судить, сохранявший отношения с Зыкиной, подошёл к моей жене, дочери покойного, и учтиво выразил соболезнование. Постоял, поговорил, успокаивал. А когда процессия стала двигаться, взял её под руку, прошёл в первый ряд за гробом и стал рядом со мной, между мною и ей. Так и шли всю дорогу, что казалось естественным, даже трепетным в связи с Зыкиной: верх положенного «по ритуалу», но... уж как ни суди, некорректным по отношению ко мне, её мужу и зятю покойного.

Что же делать мне с Виктором Гридиным, ставшем ближе к покойному, чем я?

...Прошёл год, а быть может, и больше, и я получил заказ сделать беседу с Зыкиной. Позвонил ей, условились встретиться, и в положенный час я шёл сквозь ряды оркестрантов и музыку, через всю суету – в кабинет. Улыбаясь, она шла мне навстречу. Мы вошли, и она прикрыла дверь. Но тут же её отворили вошедшие: кто-то шёл подписать документ, кто-то с чем-то своим, кто с жалобой...

— Этак мы не поговорим, – наклонился я к ней.

— Не волнуйтесь, – шепнула Зыкина. И нетерпеливо стала подписывать бумаги. – Так, достаточно: у меня интервью, – объявила она остальным, проводя своё мощное тело, чтобы выпроводить их из кабинета. Повернула ключ, но, подумав, обернулась с улыбкой ко мне:

— Мы поставим за дверью Гридина, будет полная тишина. – И опять повернула ключ, вышла.

Только Гридин был тут как тут. Показался в двери и, увидев, посмотрел на меня услужливо: я здесь был

журналист, кому с **ней** беседовать, а ему – охранять тишину.

– В общем, Виктор, чтоб никого! – услышал её шёпот. – А то наглые, будут стучать.

Она села за стол, я – напротив.

– Ближе, ближе ко мне, – пододвинула стул. – Я сегодня пою. Буду тихо...

Я сел ближе к его жене. Хотя и бывшей, а всё же... Она ближе наклонилась ко мне, и, когда говорила, я ощущал на лице её дыхание, а волосы раскидисто и непослушно касались иногда моих рук, щекотали лицо и шею.

Никогда в своей жизни – ни до, и ни после – не ощущал я в такой полной мере особую, утончённую блажь.



МОГИЛА В АТЛАНТИКЕ

1

Ни один некролог ни в одном журнале никогда не вызывал таких взрывных и непримиримых эмоций — от острой насмешки до протеста, таких... выставляемых условий подписания (!), как некролог Виктора Урина в литературном альманахе «Муза». При том, что буквально каждый отмечал своеобразие его поэтического дара. Вполне заслуженную им в прошлом славу. Некий особый ажиотаж в конце сороковых вокруг входящего в литературу имени.

Бесспорно, речь идёт об одной из самых одиозных фигур в современной русской поэзии.

Точнее — самой одиозной.

2

В конце сороковых...

Для меня это значит: в детстве, когда я ходил в третий класс, Урин был уже известным поэтом.

*Оборвалась нитка,
Не связать края.
До свиданья, Лидка,
Девочка моя.*

О, я правильно писал в некрологе: «...когда вечера поэзии с его участием собирали громадные аудитории...»

Впрочем, даже ещё в середине этих самых сороковых, когда я, пятилетний ребёнок, с удивлением глядел на отца – молодого, красивого, стройного, только что вернувшегося с войны с орденами-медалями на кителе, – на отца, которого совершенно не помнил, – где-то в тот, трепетный в памяти, заветный год постучалось в литературу поколение фронтовых поэтов.

Межиров и Гудзенко. Недогонов. Урин...

И было два десятилетия, когда для меня имя Урина просто мелькало в периодике... Что-то читал, даже помнил наизусть.

А потом...

Потом как-то всё в представлении о нём затрещало. Ну нет, оставалось в сознании: яркий, талантливый новатор. И всё-таки затрещало. Воспламенилось, как дрова на медленном огне. И тлело на моей памяти много лет...

Нет, правда, когда впервые возникло «недостойное» упоминание об Урине? Может, в тех же сороковых, в Литинституте, когда Сельвинский Илья Григорьевич – руководитель семинара Урина – говорил, придя домой, усмехаясь: «По уму – не выше табуретки»?

Но я-то об этом узнал спустя четверть века.

Зато помню вечер в конце шестидесятых. В принадлежащем ещё писателям ресторане ЦДЛ за столиком были Иван Бауков – старик-фронтовик с отвисшей нижней челюстью, поэт самобытный, яркий; незрячий и однорукий Еремеев, колкий и остроумный Алексей Марков и я. В какой-то момент к нам подсел Лев Ошанин. Марков тут же ему налил. И – о чудо – Лев Иванович... выпил.

– Браво! – воскликнул Марков. – Пьющий Ошанин – всё равно, что непьющий Шубин! Редкость-то какая.

И вот здесь, – да, именно здесь и тогда – прозвучало для меня впервые:

**Он, как Гудзенко, некультурен,
Как Шубин, пьян и глуп, как Урин.**

Все стали смеяться. (Правда, я никогда не знал, о ком это. Смешно и хлётко – и всё.)

Все разошлись. В машине Маркова были он и я. Ехали домой – на Ленинский. Он – за рулём. Я – рядом.

— Это почему ещё... глуп, как Урин? – подал я голос.

Он помолчал. Усмехнулся.

— Символ глупости.

И оба замолкли. Была ночь. На Ленинском меркли фонари.

Всё-таки вредным он был, Алексей Марков.

3

Бывает, что имя обрастает легендами. Имя Урина обросло анекдотами. Их можно было бы причислить к историческому жанру легенд, если бы не было поправки на иронию. Каждый, оказывается, кривит рот, стоит упомянуть имя: Урин. Каждый зачем-то поднимает руку, как бы отстраняясь от ненужной темы, и непременно говорит: «Ой, ради бога!..»

А выслушав, насмеявшись, скажет:

— А вот ещё случай с Уриным.

Сколько их было, этих случаев... Ещё никогда его не видя, каждый располагал уже коллекцией.

Я стал читать его с пристрастием, как бы ища подтверждения того, как теперь его представлял. И что вы думаете – находил!

Вот на страницу – подборка в «Огоньке» (примерно конец шестидесятых). В ней, в политическом стихотворении о событиях в латиноамериканской стране Урин находит рифму к «Гватемале»:

Гватемале – гвалте мяли.

Сама по себе она хороша. Но вот эта строчка:

Фашисты в револьверном гвалте мяли...

Мало того, что искусственна, – строчка истерична. В ней – и надуманность, и необузданность, и крик... Даже сейчас, спустя полжизни, я бы сказал, что в ней – весь Урин. Мятущийся, импульсивный. Сначала делающий, потом осознающий.

Вся неуёмность, непредсказуемость, странность определили слова «Случай с Уриным». Даже не слова, а... понятие. Нечто нарицательное. Его можно ввести в оборот, как ввёл Гончаров понятие «Обломов».

4

Сколько их было, этих случаев...

Вот он – в издательстве «Советский писатель» сидит у кабинета директора. Тот должен подойти, Урин ждёт. Пришёл с просьбой. Видит – идёт директор. Ждёт, пока тот приблизится, и, встав... падает перед ним на колени.

– Милейший! – выкрикивает Урин. – Всем ведомо, какой вы человек, какие прекрасные у вас заслуги...

И ещё много всего, пока тот, – изумлённый, испуганный необычным, не сказал:

– Прошу вас, встаньте с колен.

И – самое невероятное: он... выполнил просьбу, изложенную уже в кабинете Уриным!

А сколько ещё историй типа: «...он взял топор и стал рубить круглый стол Агашиной». Или: «За разведение в своей квартире костра Урин получил пятнадцать суток»...

5

– Где он сейчас? – спросил я вдову поэта Сорина, знавшую его очень близко.

– Четверть века, как в США, и нет о нём вестей... Жив или нет – бог весть.

И вдруг... как снег на голову – Урин объявился в Москве! Больше того, оказалось, это не первый его ви-

зит за четверть века: он уже прилетал семь лет назад. «Те, кто его тогда видел, – пишет Лариса Златогорова, – свидетельствуют: он сидел в ресторане ЦДЛ в высоких ковбойских сапогах, полысевший, усталый. Говорили, ему удалось создать этот самый Цех поэтов мира, о котором он мечтал. Это, говорили свидетели, был совсем другой, не похожий на прежнего сумасшедшего поэта человек»¹.

Но всё объяснялось усталостью, «...это был тот же Урин, – напишет она спустя семь лет. – ...Передо мной стоял Виктор. За плечами – вещмешок, в одной руке – мимоза, порядком привядшая, в другой – сумка, из которой льются разбитые яйца, купленные по дороге». «Глядя на него, я думала, что в наш устроенный, респектабельный мир он бросил камень»².

Последовали один за другим, с разницей в два месяца, два новых его приезда в Москву. Я просил Златогорову познакомить меня с ним.

До Нового, 2003 года оставалось пять дней.

– С наступающим! – говорю ему по телефону.

– Не надо так, – говорит Виктор Урин. – Такая стандартная фраза! Мы скажем просто: «Мы приветствуем друг друга».

Так начиналось знакомство.

6

– Я делаю то, что невозможно, – сказал он в первую встречу. – То, что возможно, я не делаю. Станислав Куняев мне сказал: «Ты живёшь правильнее всех. Но мы не можем жить, как Урин».

Мы сели в проходе, ведущем в ресторан ЦДЛ.

– Здесь, – показал он на левую стену, – висел раньше портрет Маяковского. А напротив, на правой сте-

¹ Лариса Златогорова, «Семейный альбом», М., 2003, стр. 61.

² Там же, стр. 63.

не – снимок: Семён Кирсанов и я. Мы противостояли Маяковскому.

Я присмотрелся: лысый. С боков – остатки торчащих волосков. Щёки резко очерчены глубокими впадинами морщин и как бы отделены от подбородка. Слышит, если отчётливо произнести слова, ориентируя сказанное на него. Видит, если приблизит лицо к бумаге. Не водит ею перед собой, как близорукие, а всматривается в... одно единственное слово. Не сразу его прочитывает и громко произносит.

В связи с пребыванием на Западе:

– Я ведь застал ещё там Шаховскую и многих из этих... Я – человек трёх столетий (имея в виду восприятие духа XIX-го – В. Л.) И вот живу уже в двадцать первом веке.

Он показал свою последнюю книгу. Она была издана в эмигрантских кругах с... гигантским количеством ошибок, без единого грамотного слова.

– Кто это вам так её издал? – мне стало его очень жалко.

– Я не вычитывал, – ответил он. – Я ведь пишу всё время...

«70 лет любви» – называлась книга. И была посвящена той женщине, которой он посвящал все книги, начиная с 1934 года, – Лидии Жердевой. Её давно не было на свете, но в пламенном его сердце жила к ней любовь. Это было бы подвигом, романтикой, если... не знать, как было. Лидка (помните: та самая «девочка моя») в лицо смеялась над ним и не принимала seriously. Всё, что было – лишь проводы в молодые годы домой, где он её раз-другой поцеловал. Она вышла замуж и забыла о нём, да и он имел жён, любовниц, детей... Но отслеживал её жизнь и знал о ней всё даже в годы войны, когда воевал. И... писал о её семье в связи с мужем, обо всём, что связано с ней.

***Зарывшись в землянке, четвёртые сутки
Сергей (лейтенант) и Лидка. Одни.***

Это – спустя пятьдесят лет! Но и в войну, и после войны писал он такое. Она не могла этого не знать, так как стал он известным поэтом, и стихи о ней были на слуху. Но, как прежде, не реагировала и серьёзно не принимала. А на письмо его или записку написала ему, что он глуп.

Правильней было бы определить её, как образ Лауры для Петrarки.

7

– Читайте своё, – просит Урин. Читать он не мог, так как... забыл в США очки.

– Вы только сдвиньтесь, – заметил он, прослушав пару стихотворений. – Костя Кедрин даёт авангард. Вы классицист. А нужно объединять оба начала. – И без перехода: – У меня была рифма: «поругались – португалец». Она очень нравилась Виктору Бокову. Тот, услышав, сказал: «Ну, если такая рифма...»

– У вас была, – говорю, – «Гватемале – гвалте мяли».

– Значит, вы знаете, что такое Урин.

...Устав, откинувшись на спинку кресла, он спросил:

– Какое у вас впечатление от нашей встречи? (Это было сказано очень серьёзно).

– Очень хорошее, – сказал я. – Мне был интересен Виктор Урин.

Это была правда.

Когда вышли из ЦДЛ, было скользко. Он взял меня под руку, потом обнял:

– Вот так мы шли со Светловым.

И после всех уринских историй это прозвучало просто. Дошли до угла Садового и пошли по нему. С нами поравнялся троллейбус.

– Хотите увидеть, как бежит Виктор Урин? – спросил он и, предполагая близкую остановку, побежал. Я – за ним. Бежал он так, что ещё надо было не отстать. Но остановки не было, и он остановился.

— Вы видели, чтоб так бегали без одышки?

Я внимательно на него смотрел: у него было ровное дыхание. Но тут выяснилось, что... троллейбус нужен был мне, а не ему. Машу ему из троллейбуса рукой. Вдруг он громко кричит, и морозный воздух чеканит, разнося вдаль каждый слог:

— ... и непременно напечатайте в «Музе» (такого-то) африканского поэта... Да, и ещё – (такую-то) австралийскую поэтессу, она очень талантлива.

Дверца закрылась, и я не узнал, кто ещё в странах Африки талантлив, кого нужно срочно искать.

8

В первый его приезд в Россию он передал мне ряд стихов. Многие были как кроссворды, не потому, что были загадочны, а – в буквальном смысле. Строчки шли по вертикали и горизонтали и пересекались общей буквой. Я был в затруднении, как это печатать. А в «нормальном» стихотворении вместо одной из строк шли... тридцать три ноля!

Вот это четверостишие:

***Мы империю сами себе основали
Среди облаков,
Всю в заборах, где проволока с нулями
00000000000000000000000000000000
10 000 витков.***

Я спросил его, как читать эту строчку?

— Это никак не читать, – ответил Урин. – Это зрительно. Я график. Для меня важно, чтобы была моя графика.

Но среди странного «навала» (ибо другое слово не подходит) блистали прекрасные стихи.

***...а всему — вино-разлука, вино-плата,
недосказанная задымь, хмель-причудь,
ну а женщина ничуть не виновата,
коль мужчина что-то слишком или чуть.***

*Лишь однажды ошибаются при взрыве
неудачливый поклонник да минёр.*

*— Это твой хрусталик слуха вкось-да-вкриве,
коль не слышит её тела в до-минёр...*

*Так не лезь куда-то выше... в облака-то...
Ты ли ей, она тебе ли не чета?*

*— Это твой хрусталик глаза – не локатор,
Потому, как не увидел ни черта.*

...Из Нью-Йорка он мне позвонил:

— Запишите мой адрес. Я по паспорту Durin.

— Как-как?.. – Плохо слышно, я прошу повторить.

— Я дурень, я дурень, – звучит в трубке...

9

Последний его приезд ознаменовался авторским вечером в Библиотеке Чехова на Страстном – последним его выступлением в России. Было безумно жалко Урина, буквально разрывалось сердце, так как пришло... двенадцать человек. В ушах его ещё стоял гром оваций после тех – первых – выступлений в громадных залах Политехнического в 1945 году. Но между ними и этим вечером лежала пропасть.

...Когда часы показали ровно семь, он вышел на сцену и стал читать... А в перерывах говорил, и это запомнилось, что будет жить ровно сто лет. И пытался объяснять – почему.

Один из двенадцати – Станислав Куняев, пришедший по приглашению Урина (!), не преминул вспомнить строчки, где Урин «припечатан» глупым. Обидел, но чего ожидать...

...Он улетел, сказав мне, что через несколько дней позвонит, так как просил помочь через ОВИР. Но проходили дни, недели, и не было от него звонка... Мы стали подозревать неладное и не ошиблись. Но выяснилось это спустя месяцев семь, когда один из его друзей прислал Златогоровой статью из американского журнала. В ней был напечатан, возможно, один из последних его американских стихов:

*За всю эту призрачность
в поте
пути
костром своей
плоти
плати.
Особенно в тайне
в подполье
остры
хмельной нашей
боли
костры.
И корчится хвост
от худа,
когда
пытают:
— Откуда?
— Куда?
То ты плачешь искрами,
стоя,
то я,
над хвостом
горя
горя.*

Из статьи мы узнали не только о смерти Урина, но и о том, как он жил в Нью-Йорке. Казалось бы, у него была «двухкомнатная квартира в пяти минутах ходьбы от океана. Собственный двор за бетонным забором... Местный клуб пенсионеров со столовкой, где обеды стоили 50 центов... За сутки можно было заказать транспорт и катить в любой конец города задаром. Врачебная помощь – тоже бесплатно, через три минуты после звонка... Пенсии хватало с лихвой...»

И посмотрите, как он при этом жил:

«В спальне на железные ящики был косо брошен матрац. Подушка без наволочки, одеяло – походное. В гостиной и спальне... куски мебели с помойки... Несчётное количество ящиков от чьих-то письменных столов, набитых вырезками из книг, газет... Часто в бесконечном коридоре перед его дверью были мокрые полы, это означало, что краны в ванне не были закрыты, и в квартире воды по щиколотку...

Квартира, не убираемая годами, от потопов чище не становилась. Полосы от грязной тряпки ещё долго красовались на полу, но какое это имеет отношение к поэзии?.. Часто на единственной сковородке часами подогревалась... еда, становясь углём, по квартире начинал гулять горелый туман, но какое это имеет отношение к поэзии...»¹

Будучи уже безнадёжно больным, он уходил из Дома престарелых, куда его поместили вскоре после отъезда из Москвы. А умер в больнице Нью-Йорка в 2004 году.

¹ Михаил Гафнер, «Иллюзия и иллюзионисты», журнал «СЛОВО-WORD», Нью-Йорк, 2004, № 45, стр. 197.

Когда известие о его смерти дошло до нас, мы стали готовить некролог. Выше я писал об... условиях подписания (!), звучавших из уст иных писателей. Константин Ваншенкин сказал: «Если будет сказано, что он был кристальным человеком, я не подписываю». («Ты посмотри, какой! – сказала Алла Рахманина, когда узнала это от меня. – Сам он от головы до ног кристальный!»)

«...Урин был человеком неувёмной энергии, – писал я в некрологе, – новатором. Жил мечтой о всемирном братстве поэтов и был удостоен золотого лаврового венка на Всемирном конгрессе поэтов в Нью-Йорке в 1986 году». Когда я завершил концовкой «Память о Викторе Аркадьевиче Урине, ярком, талантливом поэте, человеке громадного темперамента и постоянных новаций...» – Ваншенкин искренне смеялся.

Это был не единственный случай. Факт некролога Урина вызывал вопросы и смех. Ревич, к примеру, вспомнил, как, идя с ним по улице, Урин вынул большую пачку денег и стал их разбрасывать вокруг. «При этом, – заметил профессор, – во многих стихах у него явны проблемски гениальности». «Он был больным», – резюмировал Ревич. Но некролог подписал.

– Какая болезнь была у Урина? – спросил я Ваншенкина. – Шизофрения?

– А чёрт его знает... Но – была.

Так если, коллеги, человек был больным, зачем вы над ним смеялись? Мы что-то не слышали, чтоб смеялись над Батюшковым после 1821 года; чтоб гениальную музыку Комитаса пропускали сквозь смех.

К стыду нашему скажу, что американские коллеги – русско-еврейская эмиграция США – знали это не хуже нас. Но в статьях и высказываниях о нём, хотя бы того же М. Гафнера, сквозь кричащие описания безбытности – осознание, прежде всего, его таланта:

«Он часто говорил: «Слово надо любить».

«Говорить о литературе и стихах он мог бесконечно, двадцать четыре часа в сутки, и он говорил».

«Умение Виктора Аркадьевича превращать беспредметные разговоры в соревнование, конкретную задачу было поразительно».

«Лучше Урина читал свои стихи только Евтушенко».

* * *

Прочтя некролог Ваншенкину, я с грустью добавил:

— Последняя публикация Виктора Урина на российской земле была в альманахе «Муза». Но он её уже не увидел.

— Так это важно, — заметил Ваншенкин. — Скажите об этом в некрологе. И добавьте, непременно добавьте:

«...но он её уже не увидел».





ПАМЯТИ ЛАРИСЫ ВАСИЛЬЕВОЙ

Не стало Ларисы Васильевой...

Казалось, ещё вчера она приезжала в Центральный дом литераторов, чтоб выступить на очередном мероприятии. Ничто не предвещало близкой смерти. До дня ухода она оставалась бодрой, включённой в работу, отзывчивой на любое приглашение.

...Я был знаком с Ларисой Николаевной в последние 4 года её жизни, но знал её по литературе с давних лет. Нас познакомила Мария Арбатова, достаточно близко её знавшая. И тут же возникла близость взаимопонимания, взаимоуважения творчества друг друга. Я пред-

ложил ей принять участие в «Музе», а позже – войти в состав редколлегии. Она охотно откликнулась на оба предложения, и в трёх последних номерах – её стихи.

Жила она относительно далеко, в семнадцати километрах от МКАДа, при созданном ею музее «История танка Т-34», сконструированном, в числе других, её отцом. Сколько инициативы было ею проявлено, какая громадная работа в архивах, сколько встреч с ветеранами войны... Она стала основателем, экскурсоводом, смотрителем – душой боевого музея.

Встречались мы относительно редко, так как нечасто она наезжала в Москву. Я знал, что у неё больные ноги, и был приятно удивлён, когда, вскоре после знакомства, увидел её входящей в зал Центрального дома литераторов на мой юбилейный вечер. Она успела познакомиться с «Музой» и выступила, сказав о ней добрые слова.

Вскоре ко мне приехал человек, доставивший «в дар от Ларисы Васильевой» пять книг её прозы – великолепных, в твёрдых обложках, фолиантов художественных исследований и мемуаров. Книги эти – о друзьях и врагах, о Пушкине и его тайной и самой глубокой любви, о которой даже сейчас далеко не все знают, и которая оставалась пожизненной с юных лет, не соприкасаясь с любовью к Натали, но и не уступая ей. Любви к... императрице, жене Александра Первого, которая была старше Пушкина на двадцать лет и которую он впервые увидел ещё в Царскосельском лицее. Я не оговорился: пожизненной любви, хотя императрица Елизавета Алексеевна скончалась в 1826 году, за два года до появления в его жизни Натали и за одиннадцать лет до смерти самого поэта. Здесь поэтесса явила себя как глубокий учёный, исследовав и приведя архив писем императрицы и всесторонне раскрыв её образ – женщины любопытствующей, чуткой, писавшей письма как дневники.

О, многогранная Лариса Николаевна, я и сейчас читаю и перечитываю Ваши книги. Новизна и прекрасный язык, умение держать в напряжении – то, из чего складывается мастерство прозаика, – это ещё одна, наряду с поэзией, полноценная грань её творчества.

В книгах много открытий.

Знаете, как делаются открытия? Все знают, что здесь копать нет смысла: всё перекопано до вас, всё известно. А один не знает и копает.

Все знают, что стихотворение «Я помню чудное мгновенье...» посвящено Анне Керн. А Лариса Васильева копнула! И убедительно доказала, что не ей, а **той** его любви. В самом деле, ничто не совпадает: Анна вряд ли являла собой «гения чистой красоты». И «голос нежный» не мог относиться к ней. А с той все черты совпадали. И ещё насторожило Васильеву: почему она – видение мимолётное, в то время, как они часто виделись, были близки? Нет, тут что-то не так. Анна была замужем за старым полковником и вела вольный образ жизни, изменяла. Пушкин пишет в письме к брату Льву: «Вчера переспал с Анной Керн». Так, между прочим. Да мог ли он ей посвятить такие строки? Автор исследовала воспоминания Керн глубже, чем делали до неё, и показала, как Анна... сама себя выдаёт, не подозревая об этом. Пушкин зашёл к ней перед её отъездом из Тригорского, и, вдохновенный написанным, прочёл. Решив, что это о ней, она взяла из его рук листочек, но он стал вырывать его, не желая, чтоб он остался у неё! Разве это логично? – ставит вопрос Л. Васильева: стихи, посвящённые той, кому прочёл, он должен был трепетно вручить, подарить, а не вырывать из её рук, чтоб они у неё не остались. А он вырывал. Ибо это – святое, тайное – не должно быть в **чужих** руках.

Увы, очень редко встречался я с ней, прекрасной поэтессой, прозаиком. Работая над романом о Зинаиде Гиппиус, я увидел Васильеву в кадрах документального фильма, где она, с глубоким подходом и своим от-

ношением к Гиппиус, говорит о ней в разных местах. Я позвонил ей. Оказалось, она не знала, что фильм давно вышел, и секретарь её помогла ей его посмотреть.

И был другой вечер в Центральном доме литераторов, который я проводил совместно с другим писателем. Васильева болела. Я знал, что её не будет, но вдруг... обнаружил её скромно сидящей где-то в середине зала. Я представил её присутствующим как выдающуюся русскую поэтессу (что, если и не дотягивало до этого слова, то больше формально, а не по существу). Пришла она в белых валенках, которые помогали ей, о чём на завтра напишет «Независимая газета». Так и вышла она к микрофону – небольшая, уютная, милая, с цветом валенок под стать снегу, и рассказывала о двух книгах прозы, над которыми завершала работу.

Ей было немного за восемьдесят. И хоть внешне ничто о том не говорило, она чувствовала близкий конец, как остро его чувствует художник. Это звучит в её стихах в «Музе».

И вот – злая весть: её не стало. Я позвонил её секретарю.

— Она села в кресло, – сказала секретарь, – как было после обеда. И тут же, как всегда, задремала. Потом увидели: умерла.

*Любая беда – разве это не благо
для сердца, для буйной его полноты,
иначе о чём бы сказала бумага,
какие бы в ней отразились черты?*



СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ

БУНТ НА УЛИЦЕ СОЛЖЕНИЦЫНА	6
БОЛЕВАЯ ПРИЧАСТНОСТЬ	76
СТРАСТЬ ЗИНАИДЫ ГИППИУС	160

РАССКАЗЫ

ГЛАЗАМИ МАРЬИ ПАВЛОВНЫ	178
ДАВНЯЯ БОЛЬ	193
ЛЮБОВЬ ОЛИ ПУШКИНОЙ	206
НОЧЬ ПОСЛЕ ПРИГОВОРА	217
«... И ВСЁ-ТАКИ ЭТО НЕ ДОМ»	221

РАССКАЗЫ-ВОСПОМИНАНИЯ

В СВОЁМ АМПЛУА	228
ТОНКАЯ МЕСТЬ	235
МОГИЛА В АТЛАНТИКЕ	238
ПАМЯТИ ЛАРИСЫ ВАСИЛЬЕВОЙ	251

Лебединский
Валерий Ефимович

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Редактор С.Д. Овсянников
Художественный редактор Р.А. Аветисян
Корректор Г.В. Николаев
Компьютерная вёрстка Р.А. Аветисян

Издательство РОО «Литературное сообщество
«Новые витражи».
105062, Москва, ул. Покровка, д. 45, стр. 4.

Сдано в набор 28.09.2019. Подписано в печать 22.11.2019.
Объём 8 п.л. Формат 84x108/32. Тираж 500 экз.
Печать офсетная. Бумага офсетная №1. Цена договорная.

Типография ООО «Астра-Полиграфия».
127282, Москва, ул. Полярная, 33 б, стр.1.